



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Амфора»

Павел Евгеньевич Фокин
Достоевский без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8217092

Достоевский без глянца ; [сост., предисл. П.Фокина]. : Амфора; Санкт-Петербург; 2008

ISBN 978-5-367-00553-0

Аннотация

В книгу вошли отрывки из воспоминаний о Ф. М. Достоевском, фрагменты переписки, редкие свидетельства, воссоздающие подлинную канву его биографии. Здесь собраны только факты, из уст самых близких людей, исключая позднейшие домыслы и неверные оценки.

Содержание

Достоевский: человек и икона	5
Личность	10
Облик	10
Характер	15
Творчество	23
На эстраде	27
Отец и муж	30
Привычки, обычаи	36
Увлечения, интересы, пристрастия	39
Любимые блюда	42
Жилище	45
Здоровье	51
«Священная болезнь»	52
Долги и доходы	57
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Достоевский без глянца

Сост. Павел Фокин

*Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»*

© Фокин П., составление, предисловие, 2007

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2007

* * *

Светлой памяти Владимира Артёмовича Туниманова

Достоевский: человек и икона

*Он трогателен, интересен, но поставить на памятник
в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба.
Лев Толстой*

Американский исследователь Роберт Джексон назвал Достоевского «иконой самопознания». Справедливо. Читая романы Достоевского, человек постигает тайны бытия столь же глубоко и проникновенно, как и в храме, стоя перед образом на молитве. Но если в иконописных сюжетах и ликах видит он действительность, преображенную светом мира горнего, то в романах Достоевского узнает божественную суть творения, запечатленную в плоти земного обличия.

«По роду своей деятельности принадлежа к художникам романистам и уступая некоторым из них в том или другом отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное преимущество, что видит не только вокруг себя, но и далеко впереди себя...» – через год после смерти писателя говорил Владимир Соловьев.

Пророческую природу личности Достоевского современники признали на Пушкинских торжествах 1880 года, когда его речь вызвала всеобщий восторг, на мгновение открыв истинный лик русского просвещенного общества, удивительный по красоте и благородству. Читающая Россия с изумлением взглянула на своего кумира. Каким-то новым светом озарилась вся его многолетняя литературная деятельность, вызывавшая споры и поклонение, недоумение и трепет. Он вдруг с неоспоримой очевидностью предстал в роли духовного учителя и провидца. Скорая затем кончина Достоевского только усилила интерес к новому и неожиданному для всех явлению пророка в своем отечестве.

«Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный... Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов», – писал Валентин Распутин столетие спустя.

Личность Достоевского привлекает внимание столь же мощно, как и его творчество. Жизненная история этого человека не укладывается в голове. За шестьдесят лет он пережил столько, сколько не пережил весь род Достоевских за пятьсот лет (включая свирепый XX век!). Кажется иногда, судьба намеренно играла с ним во все известные, мыслимые и немыслимые, варианты человеческой биографии. Какой сюжет ни возьми, он почти наверняка так или иначе присутствует в жизни Достоевского.

Детство. В нем и патриархальная православная семья, со строгим отцом и ласковой мамой, с размеренным укладом московской жизни, сказочницей-няней, старшим братом – закадычным другом и единомышленником, с младшими братьями и сестрами. И частный пансион, с первым опытом коллективной жизни. И летние месяцы в дворянской усадьбе, с лесом, полем, прудом, с забавами, с картинами крестьянских трудов и будней. И суровый мир больницы для бедных. И богатые родственники из купеческой среды. И горечь утрат: ранняя смерть матери, расставание с родным городом, с семьей, с братом.

В шестнадцать лет он уже в казарме военного училища в Петербурге. Юность промелькнет в строевых подготовках, военных упражнениях, чертежах и экзаменах. В родовом имении разразится трагедия – крепостными крестьянами будет убит отец. По окончании училища – первый офицерский чин и скорая отставка. Нужда и соблазны столичного города. Ослепительный литературный дебют. «В моей жизни каждый день столько нового, столько

перемен, столько впечатлений, столько хорошего и для меня выгодного, столько и неприятного и невыгодного, что и самому раздумывать некогда... Идей бездна и пишу беспрерывно... Слава моя достигла до апогеи. В 2 месяца обо мне, по моему счету, было говорено около 35 раз в различных изданиях». Всероссийская слава в 24 года!

Всего через год – холод отчужденности и травля со стороны недавних друзей. Поиск своего места в обществе. Знакомство с радикальными кругами молодежи. Участие в тайном антиправительственном обществе. Арест. Заключение в крепость. Следствие. Смертный приговор. Томительные минуты на эшафоте в ожидании расстрела. Высочайшее помилование. Лишение дворянства, офицерского чина и гражданских прав. «Неужели никогда я не возьму пера в руки?.. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».

Кандалы. Многоверстный этап через всю замороженную, заснеженную Россию. На пересылке встреча с женами декабристов. Евангелие с десятью рублями под корешком. Омский острог. Четыре года на одних нарах с уголовниками. Потом солдатчина в захолустном Семипалатинске. Развитие нервного заболевания – эпилепсии. «Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная».

Но вот умирает царь, и – очередная перемена участи. Новый император дарует свободу и прежние права. В тридцать пять лет приходится начинать все с нуля. Жизнь закипает с новой силой. Хочется любви, деятельности, успеха. В Семипалатинске Достоевский встречает женщину, с которой решает связать свою судьбу. Она старше его, вдова, у нее сын-подросток, нервный экзальтированный характер и слабое здоровье.

Из Сибири, прожив год в Твери, Достоевский возвращается в Петербург. Пишет одну за другой повести, «Записки из Мертвого дома», роман «Униженные и оскорбленные». Вместе с братом принимается издавать литературный журнал. Новое поколение читателей восторженно приветствует некогда опального литератора.

Получает заграничный паспорт и едет в Европу. Берлин, Дрезден, Гейдельберг, Франкфурт, Висбаден, Майнц, Кёльн, Париж, Лондон, Дюссельдорф, Женева, Базель, Турин, Генуя, Ливорно, Флоренция, Милан, Венеция, Вена.

Вспыхивает роман с молодой писательницей Аполлинарией Суловой, который развивается напряженно и нервно. Семейная жизнь расстраивается. Опять нависают тучи политической опалы. Власти неожиданно закрывают журнал. С братом пытается возобновить издание под другим названием. Сулова уезжает за границу. Он спешит за ней. Висбаден, Париж, Баден-Баден, Турин, Рим, Неаполь, Ливорно, Гомбург. Между влюбленными происходит разрыв. В Москве тем временем угасает в чахотке жена. Вскоре она умирает. За ней, спустя некоторое время, неожиданно умирает брат. «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально – мне не для чего оставалось жить». Журнал закрывается окончательно. На плечи ложится многотысячный долг, воспитание пасынка и забота о семье брата.

Сорок три года. Вдовец. Душат кабальные договоры с издателями. И вдруг – новая любовь, светлая, чистая, благородная, в которую невозможно поверить. Взаимная. «Твой весь, твой верный, вернейший и неизменный. А в тебя верю и уповаю, как во все мое будущее». Новая спутница жизни моложе его на двадцать пять лет. Годится в дочери! Она еще

не родилась, когда он был уже известен всей читающей России. И, однако же, второй брак окажется счастливым, прочным и продолжительным. Наступает творческий расцвет. Из-под пера выходят мировые шедевры.

Но не дремлют многочисленные родственники. Спасая свое семейное счастье, четыре года кочует по загранице. Дрезден, Гомбург, Баден-Баден, Женева, Саксон-ле-Бен, Веве, Милан, Прага, вновь Дрезден, Висбаден. Тщетные попытки вырваться из нужды. Игра в рулетку, проигрыши, новые долги. Постоянные приступы эпилепсии. Рождение детей. Смерть первенца. И неустанный труд.

Возвращение в Россию. Непрерывные войны с кредиторами. Организация и успех собственного издательского дела. Развитие новой болезни – эмфиземы легких. Лечение на водах в Германии. Покупка дома в Старой Руссе. Смерть младшего сына. Поездка в Оптину пустынь. Пушкинская речь. Триумф. «Этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься». Стремительная болезнь и уход, ошеломивший Россию. «Опора какая-то отскочила от меня, – писал в эти дни Лев Толстой. – Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу». Плакали десятки тысяч поклонников Достоевского.

В день похорон проститься с писателем придет весь Петербург. Прибудут депутации из Москвы и других городов России. Свою скорбь выразят наследники престола. Траурная процессия заполнит весь Невский проспект. За гробом несут шестьдесят семь венков. Поют пятнадцать хоров певчих. Государь назначит вдове и сиротам пожизненную пенсию.

Только в этом беглом (и отнюдь не полном!) перечислении событий *частной жизни* Достоевского сколько сюжетов и драм! Хватит на десятки повестей и романов. Любимый сын и сирота. Потомственный дворянин и бесправный каторжанин. Офицер и солдат. Мечтатель и прагматик. Художник и инженер. Кумир и изгой. Член тайного общества и монархист. Либерал и консерватор. Атеист и христианин. Заключение и скиталец. Любовник и муж. Вдовец и глава семейства. Отец и отчим. Игрок и труженик. Должник и кредитор. Европейец и патриот. Москвич и петербуржец. Калейдоскоп социальных ролей Достоевского можно вращать непрерывно, и всякий раз психологический узор поведения будет причудлив и неповторим.

А ведь была еще литературная борьба. Была трагедия гибели Пушкина, пережитая как личная утрата. Было увлечение Белинским и его молодым окружением. Дружба и расхождение с Некрасовым. Приятельство, разрыв, вражда и примирение с Тургеневым. Poleмика с Добролюбовым и Чернышевским. Знакомство с Герценом и Огаревым. *Невстреча* со Львом Толстым. Аполлон Григорьев, Николай Страхов, Аполлон Майков, Константин Победоносцев, Владимир Мещерский, Всеволод и Владимир Соловьевы – за каждым именем своя история отношений, человеческих, интеллектуальных, духовных.

Наконец – или в первую очередь! – было творчество. За тридцать пять лет – восемь больших романов, полтора десятка повестей и рассказов, сотни страниц публицистики и литературной критики. Десятки героев. Конспективно: Макар Девушкин, Голядкин, господин Прохарчин, Горянчиков, Фома Опискин, Иван Петрович, Наташа Ихменева, Нелли, князь Валковский, подпольный парадоксалист, Раскольников, Соня, Мармеладов, Свидригайлов, Порфирий Петрович, Лужин, Дунечка, Катерина Ивановна, Алексей Иванович, Полина, князь Мышкин, Рогожин, Настасья Филипповна, Аглая, Лебедев, семейство Епанчиных, генерал Иволгин, Вельчанинов, Труссоцкий, Ставрогин, Шатов, Кириллов, Петр Верховенский, Степан Трофимович, Варвара Петровна, супруги Лембке, Федька Каторжный, Липутин, Версиков, Аркадий Долгорукий, Макар, Федор Павлович Карамазов, Иван, Митя, Алеша, Смердяков, Ракитин, Коля Красоткин, Илюшечка Снегирев, Великий инквизитор и его Пленник, Кроткая, Смешной... Сколько лиц, сколько мыслей, сколько страсти! Каждый – «взят из сердца». «Очевидно, – писал Достоевскому Страхов, – по содержанию,

по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с Вами, однообразен».

Его упрекали в том, что в его романах события нагромождены с фантастической, неправдоподобной густотой, что читать его невозможно – пестрит в глазах. А он так жил! Это был *естественный* темп его жизни. «У бездны на краю». Между абсолютной гармонией и гибельным хаосом. Между «идеалом Мадонны» и «идеалом Содомским». Благодетелем и грехом. Раем и адом.

Уникальная, невероятная личность!

Кто только не пытался разгадать ее тайну. История русской философии начинается с размышлений над романами Достоевского. Владимир Соловьев, Василий Розанов, Дмитрий Мережковский, Лев Шестов, Сергей Булгаков, Николай Бердяев – нет ни одного сколько-нибудь значимого русского мыслителя, который бы прошел мимо Достоевского. Да и на Западе это редкий случай.

К наследию Достоевского, к феномену его личности обращаются юристы, психиатры, педагоги, историки, политологи, богословы. Эйнштейн как-то признался, что романы Достоевского дали ему для понимания теории относительности больше, чем все математическое наследие Эйлера. Сербский православный святой преподобный Иустин (Попович) признавался: «Начиная с пятнадцати лет, Достоевский мой учитель. Признаюсь – и мой мучитель». Что уж говорить о собратьях по писательскому цеху, о художниках, режиссерах, композиторах, кинематографистах. Личность Достоевского, его жизненный путь и творческое наследие сформировали целую отрасль *духовной деятельности человечества*.

Любопытно, что первый *роман* о Достоевском появился еще при его жизни. Некий Поль Гримм выпустил в 1868 году в Вюрцбурге – на французском языке – книгу «Les mystères du Palais des Czars (Sous l'Empereur Nicolas I)» – «Тайны царского двора (При Николае I)». В ней события развивались в 1855 году. По версии автора, Достоевский, названный своим полным именем, вернувшись из Сибири, вновь затевает заговор, вновь арестован, осужден к ссылке в Сибирь, но по дороге в Шлиссельбургскую крепость умирает. Жена Достоевского, добившаяся было у царя прощения для мужа, узнав о его смерти, уходит в монастырь. Сам Николай I кончает самоубийством. Достоевского возмутила эта ахиня, он хотел даже протестовать во французских газетах, начал писать опровержение, но после – остыл, смирился. Интересно, как бы он отреагировал на роман дважды лауреата Букеровской премии, Нобелевского лауреата 2003 года южноафриканского писателя Джона Кутзее «The Master of Petersburg» (в русском переводе – «Осень в Петербурге», 1994), в котором описываются не менее фантастические события «из жизни Достоевского», да еще делаются намеки на якобы патологическую склонность писателя к маленьким девочкам и его анонимное якобы участие во французских порнографических изданиях?

К сожалению, наряду с теми, кто с преданной любовью – у нас, в России, в Европе, США, Японии – заботливо и кропотливо восстанавливал и продолжает восстанавливать правду этой удивительной жизни, каждый день и час ее, проверяя каждый шаг и адрес, во множестве действуют разного рода и толка духовные мародеры, для которых *чудо* есть вовсе не чудо, а лишь сюжет для скверного анекдота.

В 1988 году художник Игорь Каменев написал образ «святого великомученика» Достоевского, соединив на своем холсте интеллектуальную напряженность знаменитого портрета Василия Перова и каноническую прорись православной иконы. В руках у Достоевского, как у апостола Павла, Евангелие. Над головой – золотой нимб.

И сегодня Достоевский остается фигурой, в которой «Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут... Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

Павел Фокин

Личность

Облик

Авдотья Яковлевна Панаева (*Головачева; 1819–1893*), *писательница, мемуаристка, гражданская жена Н. А. Некрасова:*

С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались.

Степан Дмитриевич Яновский (*1815–1897*), *врач, товарищ молодости Достоевского:*

Вот буквально верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одет он был чисто и, можно сказать, изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный казимировский жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр; если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы...

Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдававшиеся окраины глазницы, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову.

Николай Николаевич Страхов (*1828–1896*), *литературный критик, один из ведущих сотрудников журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха»:*

Наружность его я живо помню; он носил тогда (в конце 1859 г. – Сост.) одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица.

Анна Григорьевна Достоевская (*урожд. Сниткина; 1846–1918*), *вторая жена Достоевского, автор «Воспоминаний»:*

С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти – семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напояжены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один – карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно¹. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то

¹ Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у проф. Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок

загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах).

Анатолий Александрович Александров (1861–1930), литератор, редактор газеты «Русское слово» и журнала «Русское обозрение»:

Это был немолодой уже человек, но еще очень бодрый и живой, просто одетый, с небольшою проседью в бороде, с лицом чисто русского склада и типа, необыкновенно подвижным и одухотворенным, с очень большим и умным лбом, милым, задушевым голосом и удивительными глазами.

Это были живые, в высшей степени внимательные глаза, казалось, смотревшие вам прямо в душу и видевшие ее всю насквозь, со всеми ее изгибами и тайниками. Но не строгое осуждение, не злая или холодная насмешка смотрела из них, а что-то ободряющее и ласковое, задушевное и милое, вызывающее на откровенность и доверие. То же самое звучало и в его голосе, необыкновенно искреннем и сердечном.

Анна Григорьевна Достоевская:

В эту же зиму (1871/72 г. – Сост.) П. М. Третьяков, владелец знаменитой Московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник В. Г. Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставлял Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете «минуту творчества Достоевского». Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы «в себя смотрит», и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила.

Евгений Николаевич Опочинин (1858–1928), писатель, археограф:

Наружность незначительная: немного сутуловат; волосы и борода рыжеватые, лицо худое, с выдавшимися скулами; на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль.

Александра Николаевна Толиверова (урожд. Сусоколова; 1842–1918), писательница, участница гарибальдийского движения:

В лице Федора Михайловича всего более поражали его глаза. Они были темно-карие, глубокие, голова была покрыта темно-каштановыми, с небольшою проседью, мягкими волосами. Впечатление, произведенное его глазами, было так же сильно при последующих свиданиях, как при первом. Хотя иногда они лихорадочно блестели, иногда казались потухшими, но в том и другом случае производили равно сильное впечатление. Это происходило еще и потому, что Федор Михайлович, говоря, всегда смотрел пристально в упор.

Христина Даниловна Алчевская (урожд. Журавлева; 1841–1920), деятельница народного образования, публицист, мемуаристка:

сильно расширился. (Примеч. А. Г. Достоевской.)

Передо мною стоял человек небольшого роста, худой, небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие, потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию, морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенес. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле. Когда мы уселись близко, vis-a-vis, и он начал говорить своим тихим, слабым голосом, я не спускала с него глаз, точно он был не человек, а статуя, на которую принято смотреть вволю.

Михаил Александрович Александров, наборщик и метранпаж ряда петербургских типографий, в которых в 1870-е гг. издавались произведения Достоевского:

С первого взгляда он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым; но так как я знала, что вижу перед собой интеллигента, и притом интеллигента высокой степени, то меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности, причем маленькие руки его, хотя, разумеется, и чистые и мягкие, но с уродливыми ногтями на некоторых пальцах, представлявшими собою следы грубого, тяжелого труда, еще более усиливали последнее впечатление, а голос и манера говорить довершали его... При всем этом, одетый в легкую выхухолевую шубку, худощавый, с впавшими глазами, с длинной и редкою русо-рыжеватою бородою и такими же волосами на голове – Федор Михайлович напоминал своею фигурою умного, деятельного промышленника-купца, но такого, однако ж, купца, который походил на думного боярина времен допетровской Руси, как их пишут наши художники на исторических картинах...

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903), романист, поэт, литературный критик, сын историка С. М. Соловьева, брат философа В. С. Соловьева:

Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с негустой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление – это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни. Замечалось в нем и много болезненного – кожа была тонкая, бледная, будто восковая. Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах – это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты. Потом я скоро привык к его лицу и уже не замечал этого странного сходства и впечатления; но в тот первый вечер оно меня так поразило, что я не могу его не отметить...

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская; 1850–1931), писательница, мемуаристка:

«Двадцатого декабря (1872 года) я узнал, что уже все решено и что я редактор „Гражданина“» – так начинает Федор Михайлович свое «Вступление» («Дневник писателя» 1873 г.).

И в тот же самый день, вечером, я увидала его впервые в типографии Траншеля, где я читала тогда корректуру этого журнала...

Это был очень бледный – землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо про-

сились наружу, но их не пускала железная воля этого щедедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного жеста, – только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне солдат – из «разжалованных», – каких мне не раз случалось видеть в моем детстве, – вообще напомнило тюрьму и больницу и разные «ужасы» из времен «крепостного права»... И уже одно это напоминание до глубины взволновало мне душу...

Снова увидеть Федора Михайловича мне привелось уже после праздников.

Войдя утром в контору, я застала его сидящим в углу, подле дверей, у стола, за которым обыкновенно работал корректор типографии, и бывший тут же Траншель, как настоящий «cavalier galant» (он был полуфранцуз-полунемец, из обруселых), представил меня Федору Михайловичу:

– Позвольте вас познакомить: это ваш корректор, В. В. Тимофеева. Редактор «Гражданина» – Федор Михайлович Достоевский.

Федор Михайлович встал и, слегка поклонившись, молча подал мне руку. Рука у него была холодная, сухая и как бы безжизненная. Да и все в нем в тот день мне казалось безжизненным: вялые, точно через силу движения, беззвучный голос, потухшие глаза, устремленные на меня двумя неподвижными точками...

Как-то раз – в конце уже марта – мы работали поздно вдвоем с Федором Михайловичем. Он сидел, как всегда, в углу за столом, а я – рядом с ним, за бюро.

Я сверяла его поправки и, прочитывая отдельные полосы, передавала ему на просмотр и на подпись.

Его «Дневник» в этом нумере был отчасти философского содержания и особенно интересен был для меня потому, что в нем говорилось о выставке картин новой русской школы, которую я только что перед тем ходила смотреть с знакомыми литераторами. Но Федор Михайлович, говоря о некоторых картинах, находил в них совсем не то, что находили эти знакомые мне литераторы...

Статья была написана страстно – он, впрочем, все писал страстно, – и эта горячая страстность невольно сообщалась и мне. Я впервые тогда почувствовала на себе неотразимое обаяние его личности. Голова моя кипела в огне его мыслей. И мысли эти казались мне так понятны, они так проникали меня насквозь, что казалось, они – мои собственные. Было в них что-то и еще мне особенно близкое: эти слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать – женщину пламенной веры, когда-то страдавшую за мое «неверие»... и я точно возвращалась теперь из Петербурга *домой*, и этот *дом* мой были *христианские* мысли Ф. М. Достоевского.

И вдруг, сама не знаю почему, меня неудержимо потянуло на него оглянуться. Но, повернув слегка голову, я невольно смутилась. Федор Михайлович пристально, в упор смотрел на меня с таким выражением, как будто давно наблюдал за мною и ждал, чтобы я оглянулась...

И когда – далеко уже за полночь – я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту пытливо всматривался в меня, точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного, точно спрашивал меня: что же я думаю? поняла ли я что-нибудь?

Но я стояла перед ним как немая: так поразило меня в эти минуты его собственное лицо! Да, вот оно, это настоящее лицо Достоевского, каким я его представляла себе, читая его романы!

Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, – оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей

власти... Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло... И я бессознательно, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась «живая картина» с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем, чем все его статьи и романы. Это было лицо *великого человека*, историческое лицо.

Иван Иванович Попов (1862–1942), революционер-народоволец, публицист:

В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжелобольного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом.

Характер

Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836–1897), дочь известного архитектора А. И. Штакеншнейдера, участница женского движения:

Удивительный то был человек. Утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили.

Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену, ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно.

Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особенно в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы.

Иногда он был даже более чем капризен, он был зол и умел оборвать и уязвить, но быть высокомерным и выказывать высокомерие не умел...

Меня всегда поражало в нем, что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости, природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности, в нем тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выражалась на его лице, – я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видаясь. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала не что именно, но что-то злое воспоследует. Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда обыкновенно он делался сумрачным, умолкал, был не в духе.

И в сущности, все это было пустяками; и все выходки его, про которые кричали, были сущими невинными пустяками. Их считали нахальными, потому что смотрели на него с каким-то подбострастием, не как на равного, не как на обыкновенного человека, а как на высшего и необыкновенного.

Анна Григорьевна Достоевская:

Федор Михайлович умел быть обаятельным, и часто впоследствии приходилось мне наблюдать, как люди, даже предубежденные против него, подпадали под его очарование.

Александр Егорович Ризенкампф (1821–1895), врач, ботаник, товарищ молодости Достоевского:

[В молодости] он любил поэзию страстно, но писал только прозой, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения; хватаясь за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, он, казалось, весь кипел; мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то исступления, природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самообладания; сильный от природы голос

его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя...

Софья Васильевна Ковалевская (*урожд. Корвин-Круковская; 1850–1891*), выдающийся математик, писательница, публицист:

Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала.

Николай Николаевич Фон-Фохт, знакомый Достоевского:

Достоевский говорил медленно и тихо, сосредоточенно, так и видно было, что в это время у него в голове происходит громадная мыслительная работа. Его пронизательные небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалось добродушие, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным, злобным светом, именно в те минуты, когда он касался вопросов, его глубоко волновавших. Но это проходило быстро, и опять эти глаза светились спокойно и добродушно. Но, что бы он ни говорил, всегда в его речи проглядывала какая-то таинственность, он как будто и хотел что-нибудь сказать прямо, откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Иногда он нарочно рассказывал что-нибудь фантастическое, невероятное и тогда воспроизводил удивительные картины, с которыми потом слушатель долго носился в уме.

Александр Егорович Врангель, барон (1833 – после 1912), юрист, путешественник, дипломат:

Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом, но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи.

Софья Васильевна Ковалевская:

По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами.

Мария Александровна Иванова (1848–1929), племянница Достоевского, дочь младшей сестры Веры:

Как известно, Федор Михайлович говорил крайне завлекательно и с пленительным красноречием, но при этом у него была пагубная привычка, часто встречающаяся в подобных случаях, придерживать своего собеседника за пуговицу или за полу. Как-то ему пришлось говорить с государыней императрицей Марией Федоровной с глазу на глаз. Вопрос был животрепещущий, и Федор Михайлович увлекся. Велик был его ужас, когда, очнувшись, он заметил, что держит собеседницу за платье и находится с ней уже у самой стены покоя. Оказалось, что во время разговора государыня удивленно отступала да отступала от тербившего кружево ее платья красноречивого собеседника, однако не желала прервать его, так как сама живо интересовалась его речью и была так ею растрогана, что на глазах у нее появились слезы. Федор Михайлович, разумеется, стал горячо извиняться, но государыня просила его не смущаться и продолжать свою речь.

Николай Николаевич Страхов:

Он часто говорил с своим собеседником вполголоса, почти шепотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос...

Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни. Он говорил тем простым, живым, беспритязательным языком, который составляет прелесть русских разговоров. При этом он часто шутил, особенно в то время; но его остроумие мне не особенно нравилось – это было часто внешнее остроумие, на французский лад, больше игра слов и образов, чем мыслей. Читатели найдут образчики этого остроумия в критических и полемических статьях Федора Михайловича. Но самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и гордость. Главным предметом их были, конечно, журнальные дела, но, кроме того, и всевозможные темы, очень часто самые отвлеченные вопросы. Федор Михайлович любил эти вопросы, о сущности вещей и о пределах знания, и помню, как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов, известные нам из истории философии. Оказывалось, что новое придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях с тем или другим великим мыслителем.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Он был самым искренним человеком, и потому в словах его, мнениях и суждениях часто встречались большие противоречия; но был ли он прав или неправ, о чем бы ни говорил, он всегда говорил с одинаковым жаром, с убеждением, потому что высказывал только то, о чем думал и во что верил в данную минуту.

Владимир Петрович Мещерский (1839–1914), писатель, публицист, редактор-издатель еженедельника «Гражданин»:

Не было человека добрее Достоевского... Он готов был все, и жизнь, и последний грош, отдать на помощь другому; но как часто я слышал, что никто так не казался злым человеком, как он... И действительно, бывало, на моих вечерах, пока все сидевшие с ним были близкие, Достоевский бывал очарователен и рассказами, и остроумием, и своею оригинальною по смелости логикою. Но едва только входил гость ему мало знакомый или вовсе незнакомый, сразу Достоевский входил, как улитка, в свою раковину и превращался в молчаливого и злого на вид истукана, и продолжалось это до тех пор, пока этому незнакомцу не удастся произвести на Достоевского симпатичного впечатления... И беда была, если, не дождавшись этого впечатления, незнакомец решится заговорить с Достоевским: непременно приходилось ждать со стороны Достоевского злую физиономию и какую-нибудь грубую реплику.

Софья Васильевна Ковалевская:

Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Михаил Александрович Александров:

Между прочим, под влиянием первых впечатлений, я находил, что Федор Михайлович был человек мнительный, недоверчивый. Так, например, я заметил, что он, говоря со мною, пытливо смотрел мне прямо в глаза или вообще в физиономию и, нисколько не стесняясь встречных взглядов, не спешил отрывать своего взгляда или переводить его на что-либо другое; становилось неловко под влиянием этого спокойно-пытливого взгляда. Впоследствии, когда Федор Михайлович узнал меня короче, он уже не употреблял этого приема в разговоре со мною, и хотя по-прежнему смотрел прямо в лицо, но это уже был взгляд просто спокойный, а отнюдь не испытующий...

Александра Николаевна Толиверова:

Несмотря на то, что он не всегда был ровен в обращении, хотя всегда искренен, быть с ним было как-то особенно хорошо.

Часто, выйдя из своего рабочего кабинета, он как будто не узнавал посетителя – еле кланялся, как-то метался, и, при первом слове, как-то нервно сжимал свои худые, бескровные руки. Но это было ненадолго – после этого он или уходил, ссылаясь на спешную работу, или, если уж оставался, то выслушивал разговор до конца с чувством полного, теплого участия. На вопросы он отвечал всегда прямо, искренно...

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

Смех у него всегда был отрывистый и короткий, но в высшей степени искренний, добродушный. И он очень редко смеялся.

Степан Дмитриевич Яновский:

Федор Михайлович никогда, даже в шутку, не позволял себе не только солгать, но обнаруживать чувство брезгливости ко лжи, нечаянно сказанной другим. Я помню, как-то раз весь кружок близких Федору Михайловичу людей собрался вечером у А. Н. Плещеева. Федор Михайлович, по обыкновению, был в хорошем расположении духа и много говорил. Но за ужином зашла речь о том, как бы достигнуть того, чтобы ни Греч, ни Булгарин и даже сам П. И. Чичиков (так прозван был нами один из издателей) никогда не лгали. Во время этого разговора кто-то в совершенно шуточном тоне, защищая последнего, сказал: «Ну, ему можно извинить, так как он хоть и прижимает нашего брата сотрудника, но все-таки платит и не обсчитывает, а что иногда солжет, то это не беда, так как и в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение». Услыхав эти слова, Федор Михайлович тотчас замолчал, сильно сосредоточился и во все остальное время только и повторял нам, близко к нему находившимся: «Вот оно что, даже и на Евангелие сослался; а ведь это неправда, в Евангелии-то этого не сказано! Когда слышишь, что человек лжет, то делается гадко, но когда он лжет и клеветает на Христа, то это выходит и гадко и подло».

Людмила Христофоровна Симонова-Хохрякова (урожд. Ребиндер; 1838–1906), писательница, общественный деятель, педагог:

Федор Михайлович был человек до чрезвычайности впечатлительный, нервный, крайне раздражительный, но добрый, чистосердечный и отзывчивый на каждое искреннее чувство. Быстрые переходы от чрезвычайной ласковости и дружелюбия к взрывам раздражения объясняются его болезненно-потрясенным организмом (вследствие каторги и припадков падучей болезни). Но если в минуты раздражения являлось лицо, искренно преданное ему, с словами чистой приязни и участия, то хотя бы лицо это предстало перед Достоевским в первый раз в жизни, все равно оно делалось тотчас же его другом, на него изливал он всю глубину своей любви к человеку, ему открывал всю горечь, накипевшую в душе. Тут, конечно, и речи не могло быть о церемонных поклонах и избитых речах первого визита.

До такой степени он был доверчивым человеком, что к нему можно было прямо прийти и сказать: «Федор Михайлович, я вас ценю и уважаю потому-то и потому-то». Он непременно дружески протянет руку и ответит: «Спасибо! и я люблю вас, потому что уж если вы пришли и сказали мне это так просто и чистосердечно, то, стало быть, вы человек добрый и прямодушный».

Мария Александровна Иванова:

Достоевский легко увлекался людьми, был влюбчив.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Он бывал чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо. В таком настроении он часто повторял слово «голубчик». Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевным, таким милым...

Владимир Петрович Мещерский:

Радость Достоевского, когда он нападал на след или признаки таланта, была трогательна и характерна.

Анатолий Александрович Александров:

Поразила меня в нем еще одна замечательная и очень редкая особенность в таком крупном человеке и таком прекрасном рассказчике, как он: умение не только хорошо говорить, но и удивительно хорошо слушать. Он слушал своего собеседника с таким интересом и вниманием, с такой охотой и серьезной вдумчивостью, что тот начинал говорить все с большим одушевлением и откровенностью.

Христина Даниловна Алчевская:

Резче всего запечатлелась у меня в памяти следующая черта, выдающаяся в Достоевском, – это боязнь перестать понимать молодое поколение, разойтись с ним. Это просто, по-видимому, составляет его *idée-fixe*². В этой *idée-fixe* вовсе нет боязни перестать быть любимым писателем или уменьшить число поклонников и читателей, нет, на расхождение с молодым поколением он, видимо, смотрит как на падение человека, как на нравственную смерть. Он смело и честно стоит за свои задушевные убеждения и вместе с тем как бы боится не выполнить возложенной на него миссии и незаметно для самого себя сбиться с пути. Все это выходит у него необыкновенно искренно, правдиво, честно и трогательно.

Николай Николаевич Страхов:

Федор Михайлович, несмотря на свой быстрый ум, несмотря на возвышенные цели, которых всегда держался в своей деятельности и в своем поведении, или, скорее – именно по причине этих возвышенных целей, – чрезвычайно страдал непрактичностью; когда он вел дело, он вел его очень хорошо; но он делал это порывами, очень короткими, легко утешался и останавливался, и хаос возрастал вокруг него ежеминутно.

Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер:

19 октября 1880. Мы... сидели с Анной Григорьевной. И отвела же она наконец свою душу. Сестры слушали ее в первый раз и то ахали с соболезнованием, то покатывались со смеха. Действительно, курьезный человек муж ее, судя по ее словам. Она ночи не спит,

² Навязчивая идея (*фр.*).

придумывая средства обеспечить детей, работает как каторжная, отказывает себе во всем, на извозчиках не ездит никогда, а он, не говоря уже о том, что содержит брата и пасынка, который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом, еще первому встречному сует, что тот у него ни попросит.

Придет с улицы молодой человек, назовется бедным студентом, – ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращен Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, – двенадцать рублей даются. Нянька старая, помещенная в богадельню, значит, особенно не нуждающаяся, придет, а приходит она часто. «Ты, Анна Григорьевна, – говорит он, – дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять». И это повторяется не один раз в год и не три раза, а гораздо, гораздо чаще. Товарищ нуждается или просто знакомый просит – отказа не бывает никому. Плещееву надавали рублей шестьсот; за Пуцыковича поручались и даже за м-м Якоби. «А мне, – продолжала изливаться Анна Григорьевна, – когда начну протестовать и возмущаться, всегда один ответ: „Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!“» «Будут, будут!» – повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слезы; а сестры меняли смех на ахи!

«Вот получим, – всхлипывая, говорила она, – от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за „Карамазовых“, и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает! Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но он ведь и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей. Вот так мы и живем. А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие! Ведь пенсии нам не дадут!»

И в самом деле ее жаль, трудно ей в самом деле. Но как не удивляться ему и не любить его? А еще говорят, что он злой, жестокий. Никто ведь не знает его милосердия, и не пожалуется Анна Григорьевна, и мы бы не знали.

Александр Егорович Ризенкамф:

Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живет все хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью.

Александр Егорович Врангель:

Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Он находил извинение самым худым сторонам человека, – все объяснял недостатком воспитания человека, влиянием среды, в которой росли и живут, а часто даже их натурой и темпераментом.

«Ах, милый друг, Александр Егорович, да такими ведь их Бог создал», – говаривал он. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Кто не помнит его заботливости о семье его брата Михаила Михайловича, его попечения о маленьком Паше Исаеве и о многих других.

Николай Николаевич Страхов:

Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был безусловно чист от всякого дурного чувства по отношению к власти; авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только литературный; авторитет же пострадавшего человека

никогда не выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью. Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая на редакционные вечера Михаила Михайловича (кажется, они были по воскресеньям), с большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и наконец сказала: «Смотрю на вас и, кажется, вижу на вашем лице те страдания, какие вы перенесли...» Ему были видимо досадны эти слова. «Какие страдания!..» – воскликнул он и принялся шутить о совершенно посторонних предметах. Помню также, как, готовясь к одному из литературных чтений, бывших тогда в большой моде, он затруднялся, что ему выбрать. «Нужно что-нибудь новенькое, интересное», – говорил он мне. «Из „Мертвого дома“?» – предложил я. «Я уж часто читал, да и не хотелось бы мне. Мне все тогда кажется, как будто я жалуюсь перед публикою, все жалуюсь... Это нехорошо».

Вообще он не любил обращаться к прошлому, как будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чем-нибудь радостном, как будто хвалился им. Вот почему из его разговоров трудно было составить понятие о случаях его прежней жизни.

Мария Николаевна Стоюнина (1846–1940), общественная деятельница, педагог, гимназическая подруга А. Г. Достоевской:

Достоевский сам всегда и везде страдал душевно за всех мучимых, за всех людей, но особенно его терзали страдания детей. Раз он, помню, прочел в газете, как женщина своего ребенка утопила нарочно в помойке. Так Достоевский после ночь или две не спал и все терзался, думая о ребенке и о ней. Он никак не мог выносить страданий детей. И как человек-то оттого он и производил, может быть, сильное впечатление, что был он человек любящий и страдающий, умеющий страдать...

Анна Григорьевна Достоевская:

Из совместной четырнадцатилетней жизни с Федором Михайловичем я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель И. С. Тургенев считал Федора Михайловича циником и позволил себе назвать его «русским маркизом де Сад».

Александр Егорович Врангель:

Что меня всегда поражало в Достоевском, – это его полнейшее в то время (в 1850-е гг. – Сост.) безразличие к картинам природы – они не трогали, не волновали его. Он весь был поглощен изучением человека, со всеми его достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для него второстепенным.

Анна Григорьевна Достоевская:

Любил лес, пусть все продают, а я не продам, из принципа не продам, чтоб не безлесить Россию. Пусть мне выделяют лесом, и я его стану растить и к совершеннолетию детей он будет большим...

Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал: есть ли лес? На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения.

Варвара Андреевна Савостьянова (урожд. Достоевская; 1858–1935), племянница Достоевского, дочь младшего брата Андрея:

Зашел разговор о покупке имения. Они хотели где-нибудь купить имение и, зная, что мой муж из Тамбовской губернии, спрашивали его про цену и про возможность купить там имение. «Нам предлагал ее брат, – сказал Федор Михайлович, указывая на свою жену, – имение в Курской губ. Но какая же это Россия? Я хочу в самом центре России, чтобы были березы, а там растет дуб. А я люблю березу и чернолесье. Что может быть лучше первых клейких березовых листочков!»

Мария Николаевна Стоюнина:

Все Достоевский трагически переживал и воспринимал драматически – и серьезное и пустяковое. Была я как-то у них в гостиной. Анна Григорьевна на кухню пошла, а я говорила, о чем-то и заспорила с Федором Михайловичем. Стали мы спорить, и он тут такой крик поднял, что Анна Григорьевна прибежала в испуге: «Господи, – говорит, – я думала, что, право, он тебя побьет!» Тоже пришла я раз к Достоевским, встречает меня Федор Михайлович и говорит: «Ах, если бы вы знали, если бы вы знали, какая у нас трагедия была! Любочка зашибла руку, сломала, ужас!» Ну, я говорю, а теперь как она? «Ну, теперь все прошло, вылечили. А мы было думали...» Так у вас, значит, теперь, говорю, из трагедии комедия стала. Только я это сказала, а он и обиделся. – «Нет!» – говорит, и замолчал.

Вообще, у него все почти всегда драмой или трагедией становилось. Бывало, соберет его, перед уходом куда, Анна Григорьевна, хлопчет это возле него, все ему подаст, наконец он уйдет. Вдруг сильный звонок (драматический). Открываем: «Анна Григорьевна! Платок, носовой платок забыла дать!» Все трагедия, все трагедия из всего у них.

Творчество

Анна Григорьевна Достоевская:

Ничего не было труднее для него, как садиться писать, раскачиваться.
Писал чрезвычайно скоро.

Николай Николаевич Страхов:

Федор Михайлович всегда откладывал свой труд до крайнего срока, до последней возможности; он принимался за работу только тогда, когда оставалось уже в обрез столько времени, сколько нужно, чтобы ее сделать, делая усердно. Это была леность, доходившая иногда до крайней степени, но не простая, а особенная, писательская леность, которую с большою отчетливостию пришлось мне наблюдать на Федоре Михайловиче. Дело в том, что в нем постоянно совершался внутренний труд, происходило нарастание и движение мыслей, и ему всегда трудно было оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он, в сущности, работал неутомимо. Люди, у которых эта внутренняя работа не происходит или очень слаба, обыкновенно скучают без внешней работы и со славой в нее втягиваются. Федор Михайлович с тем обилием мыслей и чувств, которое он носил в голове, никогда не скучал праздностию и дорожил ею чрезвычайно. Мысли его кипели; беспрестанно создавались новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и развивались. «Кстати, – говорит он сам на первой странице «Униженных и оскорбленных», где вывел на сцену самого себя, – мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лени. Отчего же?»

Попробуем отвечать за него. Писание было у него почти всегда перерывом внутренней работы, изложением того, что могло бы еще долго развиваться до полной законченности образов. Есть писатели, у которых расстояние между замыслом и выполнением чрезвычайно мало; мысль у них является почти одновременно с образом и словом; они могут дать выражение только вполне сложившимся мыслям, и, раз сказавши что-нибудь, они сказать лучше не могут. Но большинство писателей, особенно при произведениях крупного объема, совершают долгую и трудную работу; нет конца поправкам и переделкам, которые все яснее и чище открывают возникший в тумане образ. Федор Михайлович часто мечтал о том, какие бы прекрасные вещи он мог выработать, если бы имел досуг; впрочем, как он сам рассказывал, лучшие страницы его сочинений создались сразу, без переделок, – разумеется, вследствие уже выношенной мысли.

Писал он почти без исключения ночью. Часу в двенадцатом, когда весь дом укладывался спать, он оставался один с самоваром и, попивая не очень крепкий и почти холодный чай, писал до пяти и шести часов утра. Вставать приходилось в два, даже в три часа пополудни, и день проходил в приеме гостей, в прогулке и посещениях знакомых.

Любовь Федоровна Достоевская (1869–1926), дочь писателя, писательница, мемуаристка:

Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью. Мать стенографировала ее и потом переписывала. Достоевский исправлял написанное, часто добавляя некоторые детали. Мать переписывала еще раз и отсылала рукопись в типографию... Почерк у моей матери был очень красивым; а у отца он был менее правильным, но более изящным. Я называла его «готическим шрифтом», может быть, потому, что все рукописи были испещрены готическими окнами, очень тонко нарисованными пером. (В Инженерном замке большое значение придавали рисованию.) Достоев-

ский рисовал их совершенно механически, обдумывая то, над чем работал; можно было бы подумать, что душа его жаждала готических линий, которыми его так восхитили Миланский и Кельнский соборы. Иногда он рисовал на рукописи головы и профили, всегда очень интересные и характерные.

Анна Григорьевна Достоевская:

Обычно Федор Михайлович прямо диктовал роман по рукописи. Но если он был недоволен своею работою или сомневался в ней, то он прежде диктовки прочитывал мне всю главу зараз. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке.

Любовь Федоровна Достоевская:

Диктуя матери свои произведения, Достоевский иногда останавливался и спрашивал ее мнение. Мать воздерживалась от критики. Злобные газетные критики доставляли ее мужу достаточно огорчений, она не хотела добавлять их. Но, опасаясь, чтобы ее согласие не было слишком однообразным, мать иногда осмеливалась возражать ему по несущественным вопросам. Если героиня романа была одета в голубое, она переодевала ее в розовое; если шкаф стоял слева, она переставляла его направо; она изменяла форму шляпы героя и обрезала иногда ему бороду. Достоевский охотно принимал желаемые изменения и наивно полагал, что этим доставил своей жене большое удовольствие.

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

Когда он писал разговоры, он всегда, прежде чем написать, несколько раз повторял их шепотом или вслух, делая при этом соответствующие жесты, как будто видел перед собой изображаемое лицо.

Николай Николаевич Страхов:

На Федоре Михайловиче можно было ясно наблюдать, какой великий труд составляет писание для таких содержательных писателей, как он. В свои произведения он вкладывал только часть той непрерывной работы, которая совершалась в его голове. Читатели, как известно, иногда питают легкомысленное мнение, что писание ничего не стоит даровитым людям, и обманываются в этом случае тою легкостью, с которою течет стих или проза готового произведения. Но, в сущности, читатели редко ошибаются в оценке авторского труда, потому что обыкновенно их занимает или трогает только то, что занимало или трогало самого автора, и насколько души и труда он вложил в свое произведение, настолько оно и действует на читателей.

Что касается до поспешности и недоделанности своих произведений, то Федор Михайлович... очень ясно видел эти недостатки и без всяких околичностей сознавался в них. Мало того; хоть ему и жаль было этих «недовершенных созданий», но он не только не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и неполное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной отделки, но когда-нибудь после, когда будет иметь больше досуга, когда времена будут спокойнее. А пока он писал и писал полуобработанные вещи, — с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя своими мыслями.

Анна Григорьевна Достоевская:

Всегда был чрезмерно строг к самому себе, и редко что из его произведений находило у него похвалу. Идеями своих романов Федор Михайлович иногда восторгался, любил и долго их вынашивал в своем уме, но воплощением их в своих произведениях почти всегда, за очень редкими исключениями, был недоволен.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Я знаю, в какую тоску, в какое почти отчаяние приводили его иногда отсутствие денежных средств, забота о завтрашнем дне, о нуждах семьи. Он почти всю жизнь не выходил из денежных затруднений, никогда не мог отдохнуть, успокоиться.

Все это тяжело отзывалось на его произведениях, и почти ни одним из них он не был доволен. Он работал всегда торопясь, часто не успевая даже прочитать им написанного. А между тем ведь он писал не легкие рассказы. У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты выливались глубоко поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе. Но этого было мало: у него бывали глубокие психологические задачи, в его голове мелькали оригинальные и замечательные решения серьезных нравственных вопросов. Тут минут горячего вдохновения оказывалось недостаточно, требовалась спокойная работа мысли, а обстоятельства не давали его мысли спокойно работать...

Больной, измученный, он уставал больше и больше; но уставал не мыслью, не чувством, а просто уставал физически. Ему трудно становилось работать, и он работал медленно. Он заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало. По мере развития романа являлась необходимость изменять то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности – то, что нужно было изменить и переработать, оказывалось уже напечатанным. Таким образом, являлись великолепные эпизоды, но в общем роман представлял довольно бесформенное и, во всяком случае, невыдержанное произведение.

Он сам отлично сознавал это, и подобное сознание для художника являлось горьким мучением. Он сознавал, и в то же время ему болезненно хотелось, чтобы другие не замечали того, что он сам видит. Поэтому всякая похвала доставляла ему большую усладу: она его обманывала. Поэтому замечаемое им в ком-либо понимание его промахов раздражало его, оскорбляло, мучило...

Но я свидетельствую, что сам он, в иные откровенные, теплые минуты, признавался в своих промахах и скорбел, что судьба ставила его в невозможность вовремя исправлять их. Это было горе, горше которого не может и быть для творца-художника! И передо мною так и стоит бледное, изнеможенное лицо его в минуты этих мучительных признаний.

Михаил Александрович Александров:

Я не знаю, легко ли писал Федор Михайлович свои романы и большие повести, но знаю, что статьи для «Дневника писателя» писались им с большою натугою и вообще стоили Федору Михайловичу больших трудов. Первою и самою главною причиною трудности писания для Федора Михайловича было его неизменное правило: обрабатывать свои произведения добросовестно и самым тщательным образом; второю причиною было требование сжатости изложения, а иногда даже прямо определенные рамки объема журнальных статей; наконец, третьею причиною была срочность писания подобных статей... Следствием всего этого было то, что, несмотря на огромную опытность Федора Михайловича в литературной технике, редкие из его манускриптов обходились без одного или даже двух черняков, которые потом, для сдачи в типографию, непременно переписывались или самим Федором Михайловичем, или Анною Григорьевною, писавшею под его диктовку с черняков.

Николай Николаевич Страхов:

Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей, разумеется ясно сознавая, что он делает и в чем отступает от строгой формы мысли и искусства. Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном...

Литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер, достиг громкой известности, распространения своих идей, а под конец жизни и материального достатка.

На эстраде

Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер, 1880:

Сегодня, 19 октября, лицейский день. Литературный фонд давал сегодня литературное утро в такой зале, где трудно читать и где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он, едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!

Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет.

Михаил Александрович Александров:

Чтение его было, по обыкновению, мастерское, отчетливое и настолько громкое или, вернее, внятное, что сидевшие в самом отдаленном конце довольно большой залы Благородного собрания, вмещающей в себе более тысячи сидящих человек, слышали его превосходно.

И. Щеглов (Иван Леонтьевич Леонтьев; 1855–1911), писатель:

Сейчас мерещится, как в тумане, огромный зал Благородного собрания, переполненный избранной публикой. Несмотря на то, что зал набит битком, в зале тихо-тихо, слышно, как муха пролетит; вся публика, как один человек, затаила дыхание, чтобы не проронить ни одного звука.

На эстраде – Федор Михайлович.

Он читал главу из «Братьев Карамазовых»: Исповедь горячего сердца.

Впрочем, сказать про Достоевского: «он читал» – все равно что ничего не сказать. Понятие о чтении в обычном смысле неприменимо, когда дело идет о Достоевском. Так, как читал Федор Михайлович, когда он был в ударе (а в этот раз он был в особенном ударе), кажется, никто из русских литераторов не читал! Это было прямо что-то сверхчеловеческое, так сказать, новое творчество во время самого процесса чтения, сопровождаемое таким огромным нервным подъемом, который слушателя зараз заражал и ошеломлял и как бы насыщал атмосферу вокруг электричеством...

Достаточно было на минуту полузакрыть глаза – и чтец, и автор вдруг исчезали – и только слышалось в затаенной тишине, как лилась и переливалась пламенная покаянная речь Мити Карамазова – «воистину исповедь горячего сердца».

В моих ушах до сих пор звучит стих, цитируемый Митей Карамазовым:

Нам друзей дала в несчастьи,
Грозкий сок, венки Харит,
Насекомым – сладострастие...

Это – «насекомым – сладострастие» было произнесено каким-то сдавленно-страстным, нервно трепетным шепотком, от которого дрожь пробегала по телу.

И далее:

– Я, брат, это самое насекомое и есть, это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие, и в тебе, ангеле, это насекомое живет, и в крови твоей бури родит. Это – бури, потому что сладострастие – буря, больше бури! Красота, это – страшная и ужасная вещь!!

Буквально волосы шевелились на голове от этого огненного проникновенного чтения – впечатление было близкое к тому, что дает «Патетическая симфония» Чайковского. Что в том, что Достоевский дерзнул взять для публичного чтения самую дерзновенную главу «О Мадонне и грехе Содомском», но в его передаче каждое слово жгло и хватало за сердце, унося куда-то в неведомые и недостижимые дали...

Гипноз окончился только тогда, когда он захлопнул книгу. И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно...

Несмотря на настойчивые вызовы, Достоевский почему-то долго не показывался перед публикой. Но когда он, наконец, вышел, на лице его было выражение значительное и торжественное – и на эстраду он на этот раз не взошел, а остановился возле эстрады, прямо перед первыми рядами кресел, и начал взволнованным голосом:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Это был «Пророк» Пушкина – любимое стихотворение Федора Михайловича.

Публика замерла, захваченная волнением чтеца. А чтец с каждым стихом пламенел все более и более и последний стих:

Глаголом жги сердца людей! –

подчеркнул с таким увлечением, что буквально весь зал дрогнул.

Это «жги» он как-то иступленно выкрикнул с сверкающим взглядом, с резким повелительным жестом правой руки.

Впечатление получилось ошеломляющее.

Стих Пушкина сам по себе необыкновенный и вдохновенный – и тут же вдруг чтец – такой же необыкновенный и вдохновенный. Поднялась целая буря рукоплесканий, заставившая Федора Михайловича после многих поклонов прочесть «Пророка» вторично.

И вот он снова около эстрады, весь бледный от волнения, и с тем же пафосом льются из его уст огненные строки.

Так он и запечатлелся навсегда в моей памяти, великий писатель, как я его видел в последний раз: с горящим взглядом, с протянутой повелительно рукой, с вещим словом в устах: «Глаголом жги сердца людей!»

И он ли, спрашивается, не «жег» эти сердца и не был воплощением на земле этого самого библейского пушкинского пророка – кому Сам Господь на место сердца:

Угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул!

Михаил Александрович Александров:

Он прочел маленькую поэму графа А. К. Толстого «Илья Муромец» и при этом очаровал своих слушателей художественною передачею полной эпической простоты воркотни старого, заслуженного киевского богатыря-вельможи, обидевшегося на князя Владимира Красное Солнышко за то, что тот как-то обнес его чарою вина на пиру, покинувшего чрез это его блестящий двор и уезжавшего теперь верхом на своем «чубаром» в свое родное захолустье, чрез дремучий лес. Когда Федор Михайлович читал финальные стихи поэмы:

И старик лицом суровым

Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор... —

одушевление его, казалось, достигло высшей степени, потому что заключительные слова «и смолой и земляникой пахнет темный бор...» были произнесены им с такою удивительною силою выражения в голосе, что иллюзия от истинно художественного чтения произошла полная: всем показалось, что в зале «Благородки» действительно запахло смолою и земляникою... Публика остолбенела, и, благодаря этому обстоятельству, оглушительный гром рукоплесканий раздался лишь тогда, когда Федор Михайлович сложил книгу и встал со стула.

Отец и муж

Любовь Федоровна Достоевская:

На протяжении всей своей жизни Достоевский был очень гостеприимным и любил в дни семейных праздников объединять за столом своих родных и родню жены. Он был тогда очень любезен, выбирал темы для разговора, которые могли бы их интересовать, смеялся, шутил и соглашался даже иногда поиграть в карты, хотя и не любил эту игру.

Анна Григорьевна Достоевская:

Когда дети ложились спать, то кто-нибудь из них кричал: папа, Богородицу читать! Он приходил и читал над ребенк<ом> Б<огородицу> и затем говорил несколько ласковых слов, целовал в лоб или в губы и уходил, говоря: ну, спите, спите...

Если кто заболел хоть немного, он говорил: доктора, доктора.

Любовь Федоровна Достоевская:

Чем старше мы становились, тем строже был он по отношению к нам, но всегда оставался очень нежным, пока мы были маленькими. В детстве я была очень нервной и часто плакала. Чтобы развлечь меня, отец предлагал потанцевать с ним. Мебель в зале отодвигалась в сторону, мать брала в кавалеры сына, и мы танцевали кадрили. Так как некому было играть на рояле, мы все четверо напевали какой-нибудь ритурнель. Мать хвалила своего мужа за ту точность, с которой он выполнял трудные па кадрили. «О! – отвечал он, кашляя и вытирая пот со лба. – Если бы ты могла видеть, как хорошо я танцевал в молодости мазурку!»

Анна Григорьевна Достоевская:

На Рождестве 1872 года в семье нашей произошел следующий курьезный случай.

Федор Михайлович, чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки: непременно требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год), влезал на табуреты, вставляя верхние свечи и утверждая «звезду».

Елка 1872 года была особенная: на ней наш старший сын, Федя, в первый раз присутствовал «сознательно». Елку зажгли пораньше, и Федор Михайлович торжественно ввел в гостиную своих двух птенцов. Дети, конечно, были поражены сияющими огнями, украшениями и игрушками, окружавшими елку. Им были розданы папою подарки: дочери – прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну – большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на обоих детей произвели две гнедые из папки лошади, с великолепными гривами и хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие, для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей. Девочке, впрочем, санки скоро наскучили, и она занялась другими игрушками. Не то было с мальчиком: он выходил из себя от восторга, покрикивал на лошадей, ударял вожжами, вероятно, припомнив, как делали это проезжавшие мимо нашей дачи в Старой Руссе мужики. Только каким-то обманом удалось нам унести мальчика из гостиной и уложить спать.

Мы с Федором Михайловичем долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника, и Федор Михайлович был им доволен, пожалуй, больше своих детей. Я легла спать в двенадцать, а муж похвалился мне новой, сегодня купленной у Вольфа книгой, очень для него интересной, которую собирался ночью читать. Но не тут-то было. Около часу он услышал неистовый плач в детской, тотчас туда поспешил и застал нашего мальчика, раскрасневшегося от крика, вырывавшегося из рук старухи Прохоровны и бормочущего

щего какие-то непонятные слова. (Ему было менее полутора лет, и он неясно еще говорил.) На крик ребенка проснулась и я и прибежала в детскую. Так как громкий крик Феди мог разбудить спавшую в той же комнате его сестру, то Федор Михайлович решил унести его к себе в кабинет. Когда мы проходили чрез гостиную и Федя при свете свечи увидал санки, то мигом замолк и с такою силою потянулся всем своим мощным тельцем вниз к санкам, что Федор Михайлович не мог его сдержать и нашел нужным его туда посадить. Хоть слезы и продолжали катиться по щекам ребенка, но он уже смеялся, схватил вожжи и стал опять ими махать и причмокивать, как бы погоняя лошадей. Когда ребенок, по-видимому, вполне успокоился, Федор Михайлович хотел отнести его в детскую, но Федя залился горьким плачем и до тех пор плакал, пока его опять не посадили в саночки. Тут мы с Федором Михайловичем, сначала испуганные загадочною для нас болезнью, приключившеюся с ребенком, и уже решившие, несмотря на ночь, пригласить доктора, поняли, в чем дело: очевидно, воображение мальчика было поражено елкою, игрушками и тем удовольствием, которое он испытывал, сидя в саночках, и вот, проснувшись ночью, он вспомнил о лошадках и потребовал свою новую игрушку. А так как его требование не удовлетворили, то и поднял крик, чем и достиг своей цели. Что было делать: мальчик окончательно, что называется, «разгулялся» и не хотел идти спать. Чтoб не бодрствовать всем троим, решили, что я и нянька пойдем спать, а Федор Михайлович посидит с мальчуганом и, когда тот устанет, отнесет его в постельку. Так и случилось. Назавтра муж весело жаловался мне.

– Ну, и замучил меня ночью Федя! Я часа два-три не спускал с него глаз, все боялся, как бы он не вывернулся из саней и не расшибся. Уж няня два раза приходила звать его «баиньки», а он ручками машет и собирается опять заплакать. Так и просидели вместе часов до пяти. Тут он, видимо, устал и стал приваливаться к сторонке. Я его поддержал, и, вижу, крепко заснул, я и перенес его в детскую. Так мне и не пришлось начать купленную книгу, – смеялся Федор Михайлович, видимо чрезвычайно довольный, что происшествие, сначала нас испугавшее, кончилось так благополучно.

Любовь Федоровна Достоевская:

Достоевский всегда привозил нам из-за границы чудесные подарки. Обычно это были полезные и дорогие вещи, выбранные с большим вкусом. Матери он привез элегантный бинокль из расписного фарфора, резной тонкой работы веер из слоновой кости, красивые кружева Шантильи, черное шелковое платье и белье с изящной вышивкой. Мне он привозил белую пикейную одежду для лета, украшенные вышивкой шелковые платица для зимы. В противоположность родителям, одевающим своих дочерей всегда в голубое или розовое, он выбирал платья цвета морской волны. Цвет морской волны был его любимым цветом, и он часто одевал героинь своих романов в одежду этого цвета.

Анна Григорьевна Достоевская:

Скажу, кстати, что муж всегда был чрезвычайно доволен, когда видел меня в красивом платье или в красивой шляпе. Его мечта была видеть меня нарядной, и это его радовало гораздо более, чем меня. Наши денежные дела были всегда неважны, и нельзя было думать о нарядах. Но зато как бывал доволен и счастлив мой дорогой муж, когда ему случалось, и даже иногда против моего желания, купить или привезти мне из-за границы какую-нибудь красивую вещь. При каждой своей поездке в Эмс Федор Михайлович старался экономить, чтобы привезти мне подарок: то привез роскошный (резной) веер слоновой кости, художественной работы; в другой раз – великолепный бинокль голубой эмали, в третий – янтарную парюру (брошь, серьги и браслет). Эти вещи он долго выбирал, присматривался и приценивался к ним и был чрезвычайно доволен, если подарки мне нравились. Зная, как мужу было приятно дарить мне, я всегда, получая подарки, выказывала большую радость, хотя иногда

в душе была огорчена тем, что покупал он не столько полезные, сколько изящные вещи. Помню, например, как мне было жаль, когда Федор Михайлович однажды, получив от Каткова деньги, купил в лучшем московском магазине дюжину сорочек, по двенадцати рублей штука. Конечно, я приняла подарок в видимом восхищении, но в душе пожалела денег, так как белья у меня было достаточно, а на затраченную сумму можно было бы купить многое мне необходимое.

Покупке роскошных сорочек предшествовал комический анекдот, очень меня потешивший. Как-то раз, часу во втором ночи, муж вошел в мою комнату и разбудил громким вопросом: «Аня, это твои сорочки?» – «Какие сорочки, вероятно, мои», – не понимала я спросонья. «Но разве можно носить такое грубое белье?» – говорил муж в негодовании. «Конечно, можно, не понимаю, про что ты говоришь, голубчик, дай мне спать!» Утром последовала разгадка прихода мужа и его возмущения. Горничная рассказала, как ее и кухарку сначала испугал, а затем удивил «барин». Вечером она выстирала свои две сорочки и вывесила их сушить на веревочку за окно. Ночью поднялся ветер, и замерзшие сорочки стали колотиться о стекло. Федор Михайлович, работавший у себя в кабинете, услышав стук и боясь, что шум разбудит детей, пошел в кухню, встал на табурет, отворил форточку и потихоньку вытянул вещи одну за одной. Затем тщательно развесил обе на веревке над плитой. Вот тут-то Федор Михайлович и рассмотрел белье (оно было, конечно, из грубого серого холста), ужаснулся и пришел меня разбудить. Утром я рассказала мужу, в чем дело, и он так смеялся своей ошибке. Когда я спросила, зачем он не разбудил горничную, муж ответил: «Да жалко было будить, ведь наработались в целый-то день, пусть отдохнут». Таково было всегдашнее отношение мужа к прислуге, от которой он лишних услуг для себя никогда не требовал.

Но особенно Федор Михайлович был доволен, когда, за два года до кончины, ему удалось подарить мне серьги с бриллиантами, по одному камню в каждой. Стоили они около двухсот рублей, и по поводу покупки их муж советовался с знатоком драгоценных вещей П. Ф. Пантелеевым. Помню, я одела в первый раз подарок на литературный вечер, на котором читал муж. В то время, когда читали другие литераторы, мы с мужем сидели рядом вдоль стены, украшенной зеркалами. Вдруг я заметила, что муж смотрит в сторону и кому-то улыбается; затем обратился ко мне и с восторгом прошептал: «Блещат, великолепно блещат!» Выяснилось, что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошею, и муж был этим доволен как дитя...

Зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды, он решился заняться этим делом сам: повез меня в меховой магазин Зезерина... и попросил старшего приказчика «на совесть» выбрать нам лисий мех на шубу и куний воротник. Приказчик (поклонник таланта мужа) накидал целую гору лисьих мехов и, указывая их достоинства и недостатки, выбрал, наконец, безукоризненный на назначенную (сто рублей) цену мех. Воротник из куницы почти на ту же цену оказался превосходным. У них же нашлись образчики черного шелкового атласа, которые Федор Михайлович просмотрел и на свет, и на цвет, и на ломкость. Когда зашел разговор о фасоне (ротонды только что начинали входить в употребление), Федор Михайлович попросил показать новинку и тотчас запротестовал против «нелепой» моды. Когда же приказчик, шутя, сообщил, что ротонду выдумал портной, желавший избавиться от своей жены, то муж мой объявил:

– А я вовсе не хочу избавляться от своей жены, а потому сшейте-ка ей вещь по-старинному, салоп с рукавами!

Видя, что заказ салопы так заинтересовал мужа, я не настаивала на ротонде. Когда через две недели салоп был принесен и я его надела, Федор Михайлович с удовольствием сказал:

– Ну, ты теперь у меня совсем замоскворецкая купчиха! Теперь я не буду бояться, что в нем ты простудишься...

18-го мая 1876 года произошел случай, о котором я вспоминаю почти с ужасом. Вот как было дело: в «Отечественных записках» того года печатался новый роман С. Смирновой под названием «Сила характера». Федор Михайлович был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил ее литературный талант. Заинтересовался он и последним ее произведением и просил меня доставлять ему книжки журнала по мере выхода их в свет. Я всегда выбирала те несколько дней, когда муж отдыхал от работы по «Дневнику писателя», и приносила ему «Отечественные записки». Но так как новые номера журналов обычно выдаются на два-три дня, то я всегда торопила мужа прочесть книжку, чтоб, во избежание штрафа, вовремя вернуть ее в библиотеку. То же случилось и с апрельской книжкой. Федор Михайлович прочел роман и говорил мне, как удался нашей милой Софии Ивановне (которую я тоже очень ценила) один из мужских типов этого романа. В тот же вечер муж уехал на какое-то собрание, а я, уложив детей, принялась за чтение «Силы характера». В романе, между прочим, было помещено анонимное письмо, посланное каким-то негодяем герою романа. Оно заключалось в следующем:

«Милостивейший государь,
благороднейший Петр Иванович!

Будучи совершенно незнакомой вам особой, но как я принимаю участие в ваших чувствах, то и осмеливаюсь прибегать к вам с сими строками. Ваше благородство мне достаточно известно, и мое сердце возмущалось от мысли, что, несмотря на ваше благородство, некая близкая вам особа так недостойно обманывает. Будучи от вас отпущена более, может быть, чем за тысячу верст, она, как голубица какая обрадованная, которая, распутивши свои крылья, возносится на поднебесье и не хочет вернуться в дом отчий. Вы ее отпустили себе и ей на погибель, в когти человека, коего она трепещет; но очаровал он ее своей льстивой наружностью, похитил он ее сердце, и нет ей милее очей, как его очи. Дети малые и те ей постылы, коли не скажет он ей слова ласкового. Коли хотите вы знать, кто он – этот злодей ваш, то я вам имени его не скажу, а вы посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов. Коли увидите брюнета, что любит ваши пороги обивать, поприглядитесь. Давно вам этот брюнет дорогу перешиб, только вам-то не в догадку.

А меня ничто, кроме вашего благородства, к этому не побуждает, чтобы вам эту тайну открыть. А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен, то вы посмотрите, кого она в этом медальоне на сердце носит.

*Вам навеки неизвестная,
но доброжелательная особа».*

Я должна сказать, что за последнее время я была в самом благодушном настроении: у мужа давно приступов эпилепсии не было, дети совершенно оправились от болезни, долги наши мало-помалу уплачивались, а успех «Дневника писателя» шел *crescendo*. Все это поддерживало во мне столь свойственное моему характеру жизнерадостное настроение, и вот под влиянием его, по прочтении анонимного письма у меня мелькнула в голове шаловливая мысль переписать это письмо (изменив и вычеркнув две-три строки, имя, отчество) и послать его на имя Федора Михайловича. Мне представлялось, что он, только вчера прочитавший это письмо в романе Смирновой, тотчас же догадается, что это шутка, и мы вместе с ним посмеемся. Промелькнула и другая мысль, что муж примет письмо всерьез; в таком

случае меня интересовало, как он отнесется к полученному анонимному письму: покажет ли мне или бросит в корзину для бумаг? По моему обыкновению, что задумано, то и сделано. Сначала я хотела написать письмо своим почерком, но ведь я каждый день переписывала для Федора Михайловича стенограммы «Дневника», и почерк мой был ему слишком знаком. Следовало несколько замаскировать шутку, и вот я принялась переписывать письмо другим, более круглым, чем мой, почерком. Но это оказалось довольно трудно, и мне пришлось испортить несколько почтовых листков, прежде чем письмо было написано однообразно. Назавтра утром я бросила письмо в ящик, и оно среди дня было доставлено нам почтой вместе с другой корреспонденцией.

В этот день Федор Михайлович где-то замешкался и вернулся домой ровно к пяти; не желая заставить детей ждать обеда, он, переодевшись в домашнее платье и не разбирая писем, пришел в столовую. За обедом было шумно и весело. Федор Михайлович был в хорошем настроении, много говорил и смеялся, отвечая детям на их вопросы. После обеда муж со стаканом чаю, по обыкновению, пошел к себе в кабинет, я же ушла в детскую и только минут через десять отправилась узнать об эффекте, который произвело мое анонимное письмо.

Я вошла в комнату, села на свое обычное место около письменного стола и нарочно завела речь о чем-то таком, на что требовался ответ Федора Михайловича. Но он угрюмо молчал и тяжелыми, точно пудовыми, шагами расхаживал по комнате. Я увидела, что он расстроен, и мне мигом стало его жалко. Чтобы разбить молчание, я спросила:

– Что ты такой хмурый, Федя?

Федор Михайлович гневно посмотрел на меня, прошелся еще раза два по комнате и остановился почти вплоть против меня.

– Ты носишь медальон? – спросил он каким-то сдавленным голосом.

– Ношу.

– Покажи мне его!

– Зачем? Ведь ты много раз его видел.

– По-ка-жи ме-даль-он! – закричал во весь голос Федор Михайлович; я поняла, что моя шутка зашла слишком далеко, и, чтобы успокоить его, стала расстегивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальон: Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая, им же самым купленная в Венеции. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскользнул из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны – портрет нашей Любочки, с другой – свой собственный. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

– Ну, что нашел? – спросила я. – Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Федор Михайлович живо повернулся ко мне:

– А ты откуда знаешь об анонимном письме?

– Как откуда? Да я тебе сама его послала!

– Как сама послала, что ты говоришь! Это невероятно!

– А я тебе сейчас докажу!

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка «Отечественных записок», порылась в ней и достала несколько почтовых листов, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.

Федор Михайлович даже руками развел от изумления.

– И ты сама сочинила это письмо?

– Да и не сочиняла вовсе! Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

– Ну где же тут вспомнить! Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала?

– Просто хотела пошутить, – объясняла я.

– Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился в эти полчаса!

– Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

– В этих случаях не рассуждают! Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

– Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю «истинной ревности», так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменяешь? – смеялась я, желая рассеять его настроение, – пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато *ей*, злодейке, выцарапала бы глаза!!

– Вот ты все смеешься, Анечка, – заговорил виноватым голосом Федор Михайлович, – а подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком, и на нем оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние.

– Боже мой, что я наделал! Анечка, дорогая моя, прости меня! Я тебя поранил! Тебе больно, скажи, тебе очень больно?

Я стала его успокаивать, что никакой «раны» нет, а только простая царапина, которая завтра же заживет. Федор Михайлович был не на шутку обеспокоен, а главное, пристыжен своею вспышкой. Весь вечер прошел в его извинениях, сожалениях и самой дружеской нежности. Я и сама была бесконечно счастлива, что моя нелепая шутка кончилась так благополучно. Я искренно раскаивалась, что заставила помучиться Федора Михайловича, и дала себе слово никогда в жизни не шутить с ним в таком роде, узнав по опыту, до какого бешеного, почти невменяемого состояния способен в эти минуты ревности доходить мой дорогой муж.

Привычки, обычаи

Любовь Федоровна Достоевская:

Достоевский писал до 4–5 часов утра и вставал только после одиннадцати. Спал он в своем кабинете на диване. Тогда в России это было принято, и столяры делали турецкие диваны с большим выдвижным ящиком, куда убирали на день подушки, простыни и одеяло. Таким образом, спальня в один миг превращалась в жилую комнату или кабинет. На стене, над диваном, висела большая великолепная фотокопия Сикстинской мадонны, подаренная моему отцу друзьями, знавшими о его любви к картине Рафаэля. Первое, что видел Достоевский, просыпаясь, был кроткий лик этой мадонны, которую он считал идеалом женщины.

Встав, отец сначала делал гимнастику, а потом мылся в своей туалетной комнате. Мылся он тщательно, используя много воды, мыла и одеколона. У Достоевского была истинная страсть к чистоте... Ногти Достоевского никогда не были черными. Как бы ни был он занят, время для тщательного ухода за ногтями всегда находилось. Моясь, он обычно пел. Его туалетная комната находилась рядом с нашей детской, и каждое утро я слышала, как он пел мягким голосом одну и ту же короткую песенку:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит!
Утро дышит у ней на груди,
Ярко дышит на ямках ланит...

Потом отец шел в свою комнату и оканчивал там свой туалет. Я никогда не видела его в халате или домашних туфлях, в которых русские ходят большую часть дня. С самого утра он был в сапогах, при галстуке и в красивой белой рубашке с накрахмаленным воротником. (Тогда только народ носил у нас цветные рубашки.)

Отец всегда носил хорошо сшитые костюмы; даже тогда, когда он был беден, он одевался у лучшего портного города. Он тщательно ухаживал за своей одеждой, всегда сам ее чистил и владел секретом долго сохранять ее новой. Утром отец надевал короткую куртку. Если ему случалось, переставляя свечи, капнуть на нее воском, он сразу же снимал ее и просил служанку удалить пятна. «Пятна мешают мне, – жаловался он. – Я не могу работать, если они есть. Я все время буду думать о них, вместо того чтобы сосредоточиться на моей работе». Закончив туалет и помолившись, он шел в столовую пить чай. Теперь мы могли пожелать ему доброго утра и поговорить с ним о наших детских делах. Отец любил сам разливать чай и всегда пил очень крепкий чай. Он выпивал два стакана и брал третий с собой в кабинет, где пил его во время работы небольшими глотками.

Михаил Александрович Александров:

Сидя за чаем, Федор Михайлович или пробежал газеты, или набивал себе папиросы-пушки из желтой маисовой бумаги... Курил он довольно много...

Анна Григорьевна Достоевская:

Курил папиросы, которые набивал сам, смешивая два сорта. Саатчи и Мангуби Дивес средний и Лаферм. ¼ фунта 80 коп. После поездки в Москву на Пушкинское торжество он бросил папиросы и курил сигары, уверяя, что гораздо меньше теперь кашляет. Сигары были хорошие, дорогие, 25 штук 6 руб. и дороже.

Любовь Федоровна Достоевская:

Во время завтрака служанка проветривала и убирала его кабинет. Там было мало мебели, все вещи стояли вдоль стены и всегда должны были оставаться на своем месте. Когда к отцу приходило сразу несколько друзей, и стулья и кресла стояли в беспорядке, он сам расставлял их по местам после ухода гостей. На его письменном столе тоже царил величайший порядок. Газеты, коробка с папиросами, письма, полученные им, книги, которыми он пользовался для справок, – все должно было находиться на своем месте. Малейший беспорядок раздражал отца. Зная, какое значение он придает этому педантично соблюдаемому порядку, моя мать каждое утро самолично проверяла письменный стол мужа. Потом она устраивалась рядом с ним и приготавливала на маленьком столике свою тетрадь и карандаши. Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью...

Покончив с диктовкой, Достоевский звал нас и угощал чем-нибудь сладким (это был наш полдник)... Когда Достоевский звал нас к себе, он щедро оделял нас сладким, распределяя все лакомства поровну между братом и мной...

В четыре часа отец выходил на свою ежедневную прогулку. Он шел всегда одной и той же дорогой, погруженный в свои мысли, и не узнавал друзей, встречавшихся ему. Иногда он заходил к кому-нибудь из приятелей побеседовать об интересовавшей его политической или литературной работе. Если у Достоевского были деньги, он покупал у Балле, в лучшей кондитерской Петербурга, коробку конфет или выбирал виноград и груши в лучшем гастрономическом магазине города. Он всегда покупал самое лучшее и ненавидел случайные или дешевые покупки. Отец сам приносил домой купленное и распоряжался подать это нам на десерт. Тогда обедали в шесть часов, а в девять пили чай. Достоевский посвящал эту часть вечера чтению и начинал работу только после чая, когда все спали. Перед этим он заходил еще в нашу детскую пожелать нам спокойной ночи, благословить и прочитать с нами короткую молитву Богородице, ту самую, которую его заставляли читать родители, когда он был ребенком. Потом он обнимал нас и возвращался в свою комнату, чтобы приступить за работу. Достоевский не любил ламп и предпочитал писать при свете двух свечей.

Анна Григорьевна Достоевская:

Обед кончался в 7, и он любил до 8 или $\frac{1}{2}$ 9-го просидеть один, а затем одевался и шел гулять, или пройтись куда-либо, или же поехать куда-нибудь в гости; но в гости не любил приезжать позже 9 и самое позднее в $\frac{1}{2}$ 10-го. Сидел в гостях до 12, иногда до $\frac{1}{2}$ 1-го, ночью в час ночи непременно был дома. Переодевался очень долго в свое старое пальто...

Прежде чем лечь спать, он долго приготавливался, часа два, именно сажал детей, поил их, ужинал, осматривал, заперты ли все двери, ходил кое-куда, мыл зубы, проделывал гимнастику, молился, приготавливал воду, спички, свечку и часы недалеко от того места, где он спал, перестилал постель и затем уже ложился, закутываясь головой в простыню и покрываясь двумя одеялами, тканевым и байковым, а сверху накрывая старым пальто только ноги. Спал на спине, если спал на левом боку, то очень кашлял.

Михаил Александрович Александров:

Я должен сказать, что Федор Михайлович все, что делал, делал заботливо и, насколько хватало его физических сил, старался делать аккуратно...

Анна Григорьевна Достоевская:

Когда куда уезжал, то последнюю ночь был очень занят, именно разбирал бумаги, откладывал их в разные пачки, которые надписывал: «текущие», «неважные» и т. д. и очень заботился о том, куда положить свою рукопись; вообще же успокаивался лишь тогда, когда укладывал свой маленький чемодан. А в чемодан укладывал следующее: ночная и дневная

рубашки, чулки и платки, свои галстуки и перчатки, туфли, пепельницу, свои портсигары (в них ножницы и ножик), щетку, газеты. А в нижнем этаже всегда укладывал свои папиросы в жестяном ящичке, свой эмский стакан и разные мелочи, подарки, которые привозил нам из-за границы...

Любовь Федоровна Достоевская:

Отец добросовестно исполнял религиозные обязанности, постился, дважды в день ходил в церковь и откладывал все литературные дела. Он любил также наши чудные богослужения Страстной недели, особенно пасхальную службу с ее излучающими радость песнопениями.

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская):

...Я всегда вспоминаю один рассказ, который мне довелось случайно услышать от почтенной старушки, вдовы священника, часто встречавшей Ф. М. Достоевского в Знаменской церкви.

Вот ее подлинные слова:

— Он всегда к заутрене или к ранней обедне в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это — Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его. Не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет.

Увлечения, интересы, пристрастия

Александр Егорович Ризенкамф:

Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 годах в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не бывал, но Федор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлении, которое на него производили танцовщицы Тальони, Шлефхт, Смирнова, Андреянова и танцовщик Иогансон. Преимущественно процветал тогда Александринский театр. Такие артисты, как Каратыгины, Брянский, Мартынов, Григорьевы, г-жи Асенкова, Дюр и пр., производили неимоверное впечатление, тем более на страстную, поэтическую натуру Федора Михайловича. На французской сцене мы одинаково восторгались такими талантами, как супруги Алланы, Vernet и его сестра m-me Paul Ernest, Mondidier, Bressant (которого впоследствии заменил не менее даровитый Deschamps), Tétard, Dumenil, m-me Louisa Mayer, m-lle Mila, Malvina и пр. На немецком театре выдавались тогда двое: г. Кунст и г-жа Лилла Лёве. Впечатление, произведенное последней актрисой на Федора Михайловича в роли Марии Стюарт, было до той степени сильно, что он решился разработать этот сюжет для русской сцены, но не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно с данными истории. В 1841 и 1842 годах это была одной из главных его задач, и то и дело он нам читал отрывки из своей трагедии «Мария Стюарт».

Второе место в числе петербургских удовольствий занимала музыка. В 1841 году публика восхищалась концертами известного скрипача Оле-Буля. С 9 апреля 1842 года начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов (сначала по 25, после по 20 рублей ассигнациями), мы с Федором Михайловичем не пропускали почти ни одного концерта. Федор Михайлович нередко посмеивался над своими друзьями, носившими перчатки, шляпы, прическу, тросточки a la Liszt. После одного из концертов, в тесноте при выходе из залы, у него была оторвана кисточка от шпажного темляка, и с тех пор до самой отставки он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Федор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог, как память о концертах Листа. Впрочем, собственно к музыке Федор Михайлович никогда не относился с тем восторгом, как старший брат его... Кроме этих удовольствий молодые люди находили еще развлечение на вечеринках в частных домах. Но Федор Михайлович имел мало знакомств и вообще чуждался их, чувствуя себя в семейных домах не в своей сфере. Оставались балы и маскарады в Дворянском собрании – в соединенном обществе, в немецком собрании. Наконец, для так называемой *jeunesse dorée*³ существовали еще танцклассы с шпирцбалами: Марцынкевича, Буре, мадам Кестениг, Рейхардта и пр., и в летнее время загородные гулянья. Понятно, что Федор Михайлович, при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маскарадов и пр., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу и его приманкам. Непостижимы только были мне непомерные его расходы, несмотря на сравнительную умеренность в удовольствиях...

Степан Дмитриевич Яновский:

Федор Михайлович, искренно любя общество, любил и некоторые из его удовольствий и развлечений. Так, например, ... он любил музыку, вследствие чего при всякой возможности посещал итальянскую оперу, а по временам, когда у Майковых устраивались по воскресе-

³ Золотая молодежь (фр.).

ням танцы, он не только любил смотреть на танцующих, но и сам охотно танцевал. Из опер особенное предпочтение он отдавал «Вильгельму Теллю», в котором трио с Тамберликом приводило его в восторг, с наслаждением слушал «Дон-Жуана» Моцарта, в котором роль Церлины ему нравилась всего более, и восхищался «Нормой», сначала с Джулией Борзи, а потом с Гризи; когда же в Петербурге была поставлена опера Мейербера «Гугеноты», то Федор Михайлович положительно от нее был в восторге. Певицу Фреццолини и тенора Сальви недолюбливал, говоря, что первая – кукла с хорошим голосом, а второй ему казался очень уж слащавым и бездушным. Танцы Федор Михайлович любил как выражение душевного довольства и как верный признак здоровья, но никогда к ним не примешивал ни вопроса о сближении с женщиной благодаря возможности, танцуя, перекинуться с нею живым словом, ни вопроса о грации и ловкости танцующих.

Анна Григорьевна Достоевская:

Я, мои дети и наши старорусские друзья отлично помнят, как, бывало, вечером, играя с детьми, Федор Михайлович, под звуки органчика, танцевал с детьми и со мною кадрили, вальс и мазурку. Муж мой особенно любил мазурку и, надо отдать справедливость, танцевал ее ухарски, с воодушевлением, как «завязтый поляк», и он был очень доволен, когда я раз высказала такое мое мнение.

Софья Васильевна Ковалевская:

Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилиет их до слез...

Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathétique Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений.

Николай Фон-Фохт:

Ф. М. Достоевский очень любил музыку, он почти всегда что-нибудь напевал про себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. В этом отношении вторая дочь А. П. Иванова, Мария Александровна, ученица Московской консерватории, доставляла ему большое удовольствие своею прекрасною игрою. В одном только они расходились: Мария Александровна была большая поклонница Шопена (как и вообще все женщины), между тем как Федор Михайлович не особенно жаловал музыку польского композитора, называя ее «чахоточной». Он превыше всего ставил музыку Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и Серова, в особенности оперу последнего «Рогнеда».

Андрей Михайлович Достоевский (1825–1897), младший брат писателя:

Упомяну также здесь о случившихся раза три-четыре вечеринках у брата, на которые собирались несколько офицеров (товарищей брата), с целью игры в карты; не знаю, как было впоследствии, но в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою в карты, причем преферанс или вист были только началом игры, но вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс.

Е. А. Мамонтова (урожд. Мельчакова), семипалатинская обывательница:

Хорошо запомнилось мне одно обстоятельство, да как-то боюсь, не решаюсь его вам передать... Очень уж факт-то на первый взгляд невероятный... Как бы не упрекнули меня

в лганье. Достоевский одно время как будто бы пристрастился к азартной игре. Играли же здесь тогда сильно. Однажды Федор Михайлович утром зашел к дяде и сообщил ему, что вчера он видел небывалую игру. Эта игра произвела на него сильное впечатление: он, рассказывая про нее, быстро ходил по комнате и с волнением закончил:

– Ух, как играли... жарко! Скверно, что денег нет... Такая чертовская игра – это омут... Вижу и сознаю всю гнусность этой чудовищной страсти... а ведь тянет, так и всасывает!

Анна Григорьевна Достоевская:

Кстати о картах: в том обществе (преимущественно литературном), где вращался Федор Михайлович, не было обыкновения играть в карты. За всю нашу 14-летнюю совместную жизнь муж всего один раз играл в преферанс у моих родственников, и, несмотря на то что не брал в руки карт более 10 лет, играл превосходно и даже обыграл партнеров на несколько рублей, чем был очень сконфужен.

Владимир Михайлович Каченовский (1826–1892), писатель, переводчик, сын историка, академика М. Т. Каченовского:

Кроме отличной библиотеки, после Федора Михайловича осталась большая коллекция автографов наших замечательных писателей, художников и общественных деятелей. Это я знаю из написанного по поручению покойного А. Г. Достоевской письма ко мне от 18 октября, которым просил доставить для его коллекции какое-либо письмо моего отца, Михаила Трофимовича, «если возможно характерное, если же нельзя, то хотя записку или подпись». Я тотчас же выслал письмо.

Любимые блюда

Анна Григорьевна Достоевская:

Муж любил русскую кухню и нарочно заказывал для меня, петербургской жительницы, местные блюда, вроде московской селянки, расстегаев, подовых пирожков, и притворно ужасался моему молодому аппетиту.

Александр Егорович Врангель:

Любители мы оба с Достоевским были и до фруктов, а Ф. М. и вообще до всякого лакомства. Но ни того, ни другого в Семипалатинске, бывало, не достанешь. Удивительно, что в то время во всей Западной Сибири не разводились ни яблони, ни груши, черешни же были редкостью. Зимой привозили из Ирбита замороженные яблоки и, как большую редкость, лимоны. Мы их оттаивали постепенно в очень холодной воде и ставили в холодную комнату; спустя некоторое время они были как свежие. Зато летом было изобилие ягод: малины, черной смородины, лесной земляники, мамуры, облепихи... Мед бочками привозили из Казани и Оренбургской губернии. Одно из любимых лакомств Ф. М. и мое были кедровые орехи с медом. Зато сушеных фруктов из Бухары и Коканда караваны доставляли для Ирбитской ярмарки массы, и Достоевский особенно любил угощаться кишмишем и шепталою.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

– Постойте, голубчик! – часто говорил он, останавливаясь среди разговора.

Он подходил к своему маленькому шкафику, открывал его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол и усиленно приглашал хорошенько заняться этими вещами. Он был большой лакомка...

Любовь Федоровна Достоевская:

Отец очень любил сладости; он всегда хранил в ящике книжного шкафа коробки с винными ягодами, финиками, орехами, изюмом и фруктовой пастилой, какую делают в России. Достоевский охотно ел их днем, а иногда и ночью. Этот «дастархан», как называют закуску, подаваемую гостям на Востоке, был, как я думаю, единственной восточной привычкой, унаследованной Достоевским от его русских предков; возможно также, что все эти сладости были необходимы для его слабого организма.

Анна Григорьевна Достоевская:

Любил икру, швейцарс<кий> сыр, семгу, колбасу, а иногда балык; любил иногда ветчину и свежие горячие колбасы. Всегда покупал на углу Владим<ирского> и Невского закуски и гостинцы и непременно заезжал к Филип<п>ову за калачом или за булкой к обеду, а иногда привозил детям баранков. Булку клал в карманы шубы, и иногда было очень трудно ее вытащить. Чай любил черный в 2 р. 40 и всегда его покупал у Орловского, против Гостиного Двора. Любил тульские пряники. Чтоб меня порадовать, приносил иногда мне копченого сига, а незадолго до своей смерти, недели за три, принес миног. Любил, чтобы спички были наготове, любил совершенно черные чернила и хорошую толстую бумагу. Любил пастилу белую, мед непременно покупал в посту, киевское варенье, шоколад (для детей), синий изюм, виноград, пастилу красную и белую палочками, мармелад и также желе из фруктов.

Пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку. Любил очень горячий кофе, который бы кипел, и с своей чашкой уходил в свою комнату, в левой руке неся подсвечники и салфетку, а в правой – чашку. Любил оставаться с своей чашкой некоторое время один и был недоволен, когда его в это время тревожили разговорами.

Михаил Александрович Александров:

Чай Федор Михайлович пил крепкий и сладкий, по несколько стаканов, сидя за своим письменным столом, ходя за каждым стаканом через залу в столовую, где стоял самовар и чайный прибор, и наливая его себе сам...

Елена Андреевна Штакеншнейдер:

Надо сказать, что насчет чая Достоевский был так капризен, что сама Анна Григорьевна не могла на него угодить и отступилась наконец от делания для него чая: дома он всегда наливал его себе сам.

Анна Григорьевна Достоевская:

Заваривал чай, сначала споласкивал чайник горячею водой, клал 3 ложечки чаю (причем непременно требовал «свою» ложку, она так и называлась «папиной ложечкой») и наливал лишь $\frac{1}{3}$ чайника и закрывал салфеточкой; затем минуты через три дополнял чайник и тоже накрывал. И наливал чай лишь тогда, когда самовар переставал кипеть. Наливая себе чай, папа непременно смотрел на цвет чая, и ему случалось очень часто то добавлять чаю, то сливать в полоскательную чашку чай и добавлять кипятком; часто случалось, что унесет стакан в свой кабинет и опять вернется, чтоб долить или разбавить чай. Уверял: «Нальешь чай, кажется хорош цветом, а принесешь в кабинет, цвет не тот». Клад два куса сахара.

Михаил Александрович Александров:

Придя однажды к Федору Михайловичу во время его завтрака, я видел, как он употреблял простую хлебную водку: он откусывал черного хлеба и прихлебывал немного из рюмки водки, и все это вместе пережевывал. Он говорил мне, что это самое здоровое употребление водки.

Николай Николаевич Страхов:

Упомянув о вине, замечу вообще, что Федор Михайлович был в этом отношении чрезвычайно умерен. Я не помню во все двадцать лет случая, когда бы в нем замечен был малейший след действия выпитого вина. Скорее он обнаруживал маленькое пристрастие к сладостям; но ел вообще очень умеренно.

Анна Григорьевна Достоевская:

Вино чрезвычайно вредно действовало на Федора Михайловича, и он никогда его не пил.

Е. А. Мамонтова (урожд. Мельчакова):

Про обильную выпивку в доме Пешехонова (в Семипалатинске. – Сост.) Достоевский говаривал:

– Э, друг, если хочешь напиться, иди к Пешехонову – будешь готов.

Сам же он почти не пил и всегда возмущался разнузданностью людей, частенько проявлявшуюся под влиянием обилия хмельного в доме, где все лилось через край, причем выражался, кажется, так:

– Кто пьет до безобразия, тот не уважает человеческого достоинства ни в себе, ни в других.

Жилище

1821–1837. Родительский дом. Квартира М. А. Достоевского при Мариинской больнице в Москве, на Божедомке

Андрей Михайлович Достоевский:

Квартира, занимаемая отцом во время моего рождения и младенчества, как выше упомянуто, была в правом (при выходе из двора) каменном трехэтажном флигеле Московской Марьинской больницы, в нижнем этаже. Сравнивая теперешние помещения служащих лиц в казенных квартирах, невольно обратишь внимание на то, что в старину давались эти помещения гораздо экономнее. И в самом деле: отец наш, уже семейный человек, имевший в то время 4–5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую, собственно, из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась передняя в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней отделялось, помощью дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал, довольно поместительная комната с двух окон на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира! Впоследствии, уже в 30-х годах, когда семейство родителей еще увеличилось, была прибавлена к этой квартире еще одна комната с тремя окнами на задний двор, так что образовался и другой черный выход из квартиры, которого прежде не было. Кухня, довольно большая, была расположена особо, через холодные чистые сени; в ней помещалась громадная русская печь и устроены полати; что же касается до кухонного очага с плитой, то об нем и помину не было! Тогда умудрялись даже повара готовить и без плиты вкусные и деликатные кушанья. В холодных чистых сенях, частью под парадною лестницею, была расположена большая кладовая. Вот все помещение и удобства нашей квартиры!

Обстановка квартиры была тоже очень скромная: передняя с детской были окрашены темно-перловою клеевою краскою; зал – желто-канареечным цветом, а гостиная со спальней – темно-кобальтовым цветом. Обои бумажные тогда еще в употреблении не были. Три голландские печи были громадных размеров и сложены из так называемого ленточного изразца (с синими каемками). Обмеблировка была тоже очень простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами), хотя в карты у нас в доме никогда не игравали. Помню, что такое беззаконие у нас случилось на моей памяти раза два, в дни именин моего отца. Далее помещался обеденный стол на середине залы и дюжины полторы стульев березового дерева под светлую политурую и с мягкими подушками из зеленого сафьяна (клеенки для обивки мебели тогда еще не было. Обивали же мебель или сафьяном, или волосяною материею). В гостиной помещался диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки. Я сказал, что стулья и кресла были с мягкими подушками, но это вовсе не значит, что они были с пружинами, совсем нет – тогда пружин еще не знали. Подушки же у стульев, кресел и диванов набивались просто чистым волосом, отчего при долгом употреблении на мебели этой образовывались впадины. Стулья и кресла, по тогдашней моде, были громадных размеров, так что ежели сдвинуть два кресла, то на них легко мог улечься взрослый человек. Что же касается до диванов, то любой из них мог служить двухспальной кроватью! Вследствие этого, сидя на стульях, креслах и диванах, никоим образом нельзя было облокотиться на спинку, а надо было всегда сидеть как с проглоченным

аршином. Гардин на окнах и портьер при дверях, конечно, не было; на окнах же были прилажены простые белые коленкорové шторы без всяких украшений.

Ясное дело, что при такой небольшой квартире не все члены семейства имели удобные помещения. В полутемной детской, которая расположена была в заднюю переднюю, помещались только старшие братья. Сестра Варя спала ночью в гостиной на диване. Что же касается до меня, а позднее до сестры Верочки, то мы, как младенцы, спали в люльках в спальне родителей. Няня же и кормилицы спали в темной комнатке, имевшейся при спальне родителей.

Елена Андреевна Штакеншнейдер:

Кто-то заметил, что Достоевский всегда любил квартиры со странными лестницами и переходами.

1843. На углу Владимирской улицы и Графского переулка в Петербурге

Константин Александрович Трутовский (1826–1893), живописец, график, соученик Достоевского по Главному инженерному училищу:

Квартира его была во втором этаже и состояла из четырех комнат: просторной прихожей, зала и еще двух комнат; из них одну занимал Федор Михайлович, а остальные были совсем без мебели. В узенькой комнате, в которой помещался, работал и спал Федор Михайлович, был письменный стол, диван, служивший ему постелью, и несколько стульев. На столе, стульях и на полу лежали книги и исписанные листы бумаги.

1854. Семипалатинск

Александр Егорович Врангель:

Хата Достоевского находилась в самом безотрадном месте. Кругом пустырь, сыпучий песок, ни куста, ни дерева. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, и без единого окна наружу, ради опасения от грабителей и воров. Два окна его комнаты выходили на двор, обширный, с колодцем и журавлем. На дворе находился небольшой огорожок с парой кустов дикой малины и смородины. Все это было обнесено высоким забором с воротами и низкой калиткою, в которую я всегда влезал нагибаясь, – тоже исторически установившийся в то время расчет строить низкие калитки: делалось это, как мне говорили, для того, чтобы легче рубить наклоненную голову случайно ворвавшегося врага. Злая цепная собака охраняла двор и на ночь спускалась с цепи.

У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены; вдоль двух стен шла широкая скамья. На стенах там и сям лубочные картинки, засаленные и засиженные мухами. У входа налево от дверей большая русская печь. За нею помещалась постель Федора Михайловича, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевою перегородкою. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно когда-то красные. Вся комната была закопчена и так темна, что вечером с сальной свечой – стеариновые тогда были большою роскошью, а освещения керосином еще не существовало – я еле-еле мог читать. Как при таком освещении Федор Михайлович писал ночи напролет, решительно не понимаю. Была еще приятная особенность его жилья: тараканы стаями бегали по столу, стенам и кровати, а летом особенно блохи не давали покоя, как это бывает во всех песчаных местностях.

1855. Семипалатинск

Зинаида Артемьевна Сытина (урожд. Гейбович), дочь ротного командира 7-го линейного Сибирского батальона А. И. Гейбовича, под началом которого служил Достоевский в Семипалатинске:

Памятен мне домик, где жил Достоевский в городе Семипалатинске. Он состоял из четырех комнат: первая маленькая комната была столовой, рядом спальня, налево из первой комнаты гостиная – большая угловая комната, а из гостиной налево дверь в кабинет. Меблированы комнаты были просто, но очень удобно: в гостиной диван, кресла и стулья были обиты тисненым дорогим ситцем, с красивыми букетами, перед диваном стоял стол, а возле кабинетной двери налево диванчик в виде французской буквы S и несколько маленьких столиков. У углового окна стояло кресло, на котором любил сидеть Федор Михайлович, и близ окна куст волкомерии в деревянной кадочке. На окнах и дверях висели занавеси; в остальных комнатах также было убрано мило, просто и уютно.

1866. Дом Алонкина в Петербурге, в Столярном переулке

Анна Григорьевна Достоевская:

Дом был большой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил герой романа Раскольников.

Квартира № 13 находилась во втором этаже...

Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовою. Обставлена она была довольно скромно: по стенам стояли два больших сундука, прикрытые небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрывкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели стенные часы...

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины.

В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый коричневой, довольно подержанной материей; пред ним круглый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме висел портрет чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. «Наверно, жена Достоевского», – подумала я, не зная его семейного положения.

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то, для удобства, оно было придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей.

1873. В Петербурге, в Измайловском полку, во 2-й роте

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Я прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете. Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в которой жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо, у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг... старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим репсом, бросился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде... Затем несколько жестких стульев, еще стол – и больше ничего...

На моих глазах, в эти последние восемь лет, он переменил несколько квартир, и все они были одна мрачнее другой, и всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться.

1876. На Греческом проспекте в Санкт-Петербурге

Михаил Александрович Александров:

Жил в то время Федор Михайлович на Греческом проспекте, в доме, стоящем между греческою церковью и Прудками. Дом этот был такой же старый, как и тот, в котором он жил перед тем на Лиговке, на углу Гусева переулка. Квартира его находилась в третьем этаже и очень походила расположением приемных комнат на прежнюю; даже окнами эти комнаты выходили в одну и ту же сторону, именно на восток... Замечу кстати, что и следующая квартира Федора Михайловича была в старом же доме. Одно время меня занимал вопрос, отчего это Федор Михайлович предпочитает старые дома новым, представляющим гораздо более удобств и опрятности, и пришел к следующему заключению. Федору Михайловичу нужна была настолько объемистая квартира, что наем таковой в новом, комфортабельном доме не согласовался с его средствами... Он жил чисто литературным трудом исключительно, а существовать на заработок от такого труда, даже при таком колоссальном таланте и непомерном трудолюбии, каковыми отличался Федор Михайлович, у нас на Руси если иногда и можно, то пока лишь довольно скромно.

Кроме обычных кухни и прихожей, число комнат в виденных мною первых двух квартирах было не менее пяти, а именно: зала, служившая вместе и гостиною, маленькая столовая, такой же маленький кабинет, детская, всегда по возможности отдаленная от кабинета, и, наконец, комната Анны Григорьевны. Обстановка всех комнат была очень скромная; мебель в зале-гостиной была относительно новая, но так называемая рыночная; в остальных комнатах она была еще проще и притом старше.

Особенною простотою отличался кабинет Федора Михайловича. В нем и намек не было на современное шаблонное устройство кабинетов, глядя на которые обыкновенно нельзя определить – человеку какой профессии принадлежит данный кабинет...

Кабинет Федора Михайловича в описываемое мною время (1876 г.) была просто его комната, студия, келия... В этой комнате он проводил большую часть времени своего пребывания дома, принимал коротко знакомых ему людей, работал и спал в ней. Площадь комнаты имела около трех квадратных сажен. В ней стояли: небольшой турецкий диван, обтянутый клеенкою, служивший Федору Михайловичу вместе и кроватью; два простых стола, какие можно видеть в казенных присутственных местах, из коих один, поменьше, весь был занят книгами, журналами и газетами, лежавшими в порядке по всему столу; на другом, большем, находились чернильница с пером, записная книжка, довольно толстая, в формате четвертки писчей бумаги, в которую Федор Михайлович записывал отдельные мысли и факты для своих будущих сочинений, пачка почтовой бумаги малого формата, ящик с табаком да коробка с гильзами и ватой – более на этом столе ничего не было, – все остальное необ-

ходимое для письма находилось в столе, то есть в низеньком выдвижном ящике, помещавшемся, по старинному обычаю, под верхнею доскою стола. На стене над этим столом висел фотографический портрет Федора Михайловича; перед столом стояло кресло, старое же, как и остальная мебель, без мягкого сиденья. В углу стоял небольшой шкаф с книгами. На окнах висели простые гладкие шторы... Вот и все убранство кабинета Федора Михайловича во время издания «Дневника писателя».

Людмила Христофоровна Симонова-Хохрякова:

Он жил тогда на Песках, у Греческой церкви, занимая скромную квартирку в третьем этаже. Как теперь вижу его кабинет, маленький, в одно окно; меблировку составляли кожаный диван, письменный стол, заваленный газетами и книгами, несколько плетеных стульев да небольшой столик у стены. Неизменными атрибутами этого столика были стакан холодного чая да пузырьки с какими-то лекарствами.

1877–1880. Дом в Старой Руссе («Дача Гриббе»)

Любовь Федоровна Достоевская:

На сэкономленные с трудом во время военной службы средства полковник (Гриббе. – Сост.) построил домик во вкусе немцев балтийских провинций, полный сюрпризов, потайных стенных шкафчиков и опускающихся дверей, ведущих на темные и пыльные винтовые лестницы. В этом доме все было небольшого размера; низкие и тесные комнатки были заставлены старой ампирной мебелью, зеленоватые зеркала отражали искаженные лица тех, кто отваживался в них взглянуть. Наклеенные на полотно бумажные свитки, служившие картинами, являли нашим изумленным детским глазам уродливых китаянок с аршинными ногтями и втиснутыми в детскую обувь ногами. Крытая веранда с разноцветными стеклами была нашей единственной радостью, а маленький китайский бильярд со стеклянными шарами и колокольчиками развлекал нас в долгие дождливые дни, столь частые летом на севере. За домом был сад со смешными маленькими клумбами, засаженными цветами. В этом саду, пересеченном небольшими рвами, были всевозможные виды плодов. Полковник Гриббе сам копал эти рвы, чтобы защитить малину и смородину от весеннего разлива коварной Перерытицы, на берегу которой был построен этот маленький дом. Полковник жил летом в двух комнатках первого этажа, а все остальное сдавал курортникам. Так было принято тогда в Старой Руссе, где в то время еще не было настоящих дач. Позднее, после смерти старого полковника, мои родители купили этот домик у наследников за бесценок.

Анна Григорьевна Достоевская:

Дача Гриббе стояла (и стоит) на окраине города близ Коломца, на берегу реки Перерытицы, обсаженной громадными вязами, посадки еще аракчеевских времен. По другие две стороны дома (вдоль сада) идут широкие улицы, и только одна сторона участка соприкасается с садом соседей. Федор Михайлович, боявшийся пожаров, сжигающих иногда целиком наши деревянные города (Оренбург), очень ценил такую уединенность нашей дачи. Мужу нравился и наш тенистый сад, и большой мощеный двор, по которому он совершал необходимые для здоровья прогулки в дождливые дни, когда весь город утопал в грязи и ходить по немощеным улицам было невозможно. Но особенно нравились нам обоим небольшие, но удобно расположенные комнаты дачи, с их старинною, тяжелою, красного дерева мебелью и обстановкой, в которых нам так тепло и уютно жилось.

Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного покоя и, помню, чтение любимых и интересных книг всегда откладывал

до приезда в Руссу, где желаемое им уединение сравнительно редко нарушалось праздными посетителями.

1878–1881. Последняя квартира, в Кузнечном переулке, дом 5, в Санкт-Петербурге

Анна Григорьевна Достоевская:

Квартира наша состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок, и кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска. Парадный вход (ныне заделанный) расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом).

Здоровье

Александр Егорович Ризенкампф:

Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблаговоливших к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку...

Анна Григорьевна Достоевская:

Федор Михайлович страдал эмфиземой, катаром дыхательных путей. Дышал он тяжело, как через материю, сложенную вчетверо. По лестницам едва мог ходить. И вот, к примеру, поднимаемся мы к Полонскому на 5 этаж. Садится он и отдыхает на каждой площадке. Десяток знакомых проходит мимо, видит нас и раскланивается и, конечно, несет хозяевам весть: «идет Достоевский». Немудрено, что когда он входит, уже и хозяйин и хозяйка в прихожей, и все наперебой начинают его раздевать, а он задыхается и не может сказать слова. Но чтобы не затруднять, и сам начинает помогать раздеванию, а всякое движение ему вредно. Дома был целый обряд его раздевания – минут десять...

Не любил, когда его спрашивали, как его здоровье, всегда сердился. Часто говорил: говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что мне дышать нечем, что у меня воздуха не хватает, что я задыхаюсь. Я дышу как бы через платок.

Михаил Александрович Александров:

Федор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса....

«Священная болезнь»

Степан Дмитриевич Яновский:

Первая болезнь, для которой Федор Михайлович обратился ко мне за пособием, была чисто местною, но во время лечения он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная много из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в его детстве, а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь.

Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912), писатель, публицист, журналист, издатель:

Падучая болезнь, которою он страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. В последние годы она как будто ослабела, сделалась реже, но была постоянно в зависимости от напряжения в труде, от огорчений, от жизненных неудач, от той беспощадности, которой так много в нравах русской жизни и русской литературы. Приступы ее он чувствовал и начинал страдать невыразимо; невольно закрадывался в душу страх смерти во время припадка, болезненный, тупой страх, тот дамоклов меч, который висит над такими несчастными на самой тончайшей волосинке. Конечно, мы все знаем, что когда-нибудь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это общее положение: оно не страшит нас или страшит только во время какой-нибудь опасности. У Достоевского эта опасность всегда присутствовала, он постоянно был как бы накануне смерти: каждое дело, которое он затевал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, выстраданный и совсем сложившийся в голове, – все это могло прерваться одним ударом. Сверх обыкновенных болезней, сверх обыкновенных случаев смерти у него был еще свой случай, своя специальная болезнь; привыкнуть к ней почти невозможно – так ужасны ее припадки. Умереть в судорогах, в беспамятстве, умереть в пять минут – надобна большая воля, чтоб под этой постоянной угрозой так работать, как работал он.

Под влиянием этой вечной угрозы перейти из этой жизни в другую, неведомую, у него образовался какой-то панический страх смерти, и смерти страшной, именно в образе его болезни. Проходил припадок, и он становился необыкновенно жив и говорлив. Однажды я застал его именно в то время, когда он только что освободился от припадка. Сидя за маленьким своим столом, он набивал себе папиросы и показался мне очень странным – точно он был пьян. «Не удивляйтесь, – глядя на меня, сказал он, – у меня сейчас был припадок».

Всеволод Сергеевич Соловьев:

Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни – падучей, которою, как я слышал, страдал Достоевский, но, конечно, я не мог решиться даже и издали подойти к этому вопросу. Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. Он сказал мне, что недавно с ним был припадок.

– Мои нервы расстроены с юности, – говорил он. – Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот, право – настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно – как только я был арестован – вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал – я вдруг стал бодр, крепок,

свеж, спокоен... Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал, — я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц...

Софья Васильевна Ковалевская:

Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как намагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Николай Николаевич Страхов:

Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц, – таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границу, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. В романе «Идиот» есть подробное описание ощущений, которые испытывает в этом случае больной. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресенья. Поздно, часу в одиннадцатом, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты.

Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя, и я проводил его пешком домой, что было недалеко.

Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния. «На несколько мгновений, – говорил он, – я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».

Следствием припадков были иногда случайные ушибы при падении, а также боль в мускулах от перенесенных ими судорог. Изредка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терял память и дня два или три чувствовал себя совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своей тоскою и впечатлительностью. Характер этой тоски, по его словам, состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство.

Анна Григорьевна Достоевская:

В последний день Масленицы (1867 г. – Сост.) мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры. Весело поужинали (тоже с шампанским, как и давеча), гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. В то же время раздался громкий крик моей сестры, сидевшей рядом с моим мужем. Она вскочила с кресла и с истерическими рыданиями выбежала из комнаты. Мой зять бросился за нею.

Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал. Но тогда, к моему удивлению, я в эту минуту несколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело

моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул с горевшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому: сестра моя была в истерике, и зять мой и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но, к моему чрезвычайно горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное! Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским, выпитым Федором Михайловичем во время наших свадебных визитов и устроенных в честь «молодых» обедов и вечеров...

Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какою страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!

Но, славу Богу, Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. Но то удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. «Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, – таково мое настроение» – так всегда определял Федор Михайлович свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием.

Михаил Александрович Александров:

Я никогда не видел этих припадков, но мне рассказывала о них Анна Григорьевна. Она говорила, между прочим, что обыкновенно Федор Михайлович за несколько дней предчувствовал приближение их. При появлении известных предвестников принимались всевозможные предосторожности: так, между прочим, Федор Михайлович несколько дней не выходил из дома; днем домашние, то есть главным образом Анна Григорьевна, следили за ним, а на ночь возле его постели на диване стлалась другая постель на полу, на случай припадка во время сна. Благодаря этим предосторожностям, опасные последствия припадков предупреждались и тем самым смягчались, иначе легко могло случиться, что Федор Михайлович мог в припадке упасть на улице и разбиться о камни. При всем том, эти припадки так измучивали и обессиливали Федора Михайловича, что он потом оправлялся от каждого из них три-четыре дня; в эти дни он уже ничего не мог делать и никого не принимал, кроме Анны Григорьевны, которая одна в таких случаях умела ухаживать за ним...

Анна Григорьевна Достоевская:

Я вспоминаю о днях нашей совместной жизни как о днях великого, незаслуженного счастья. Но иногда я искупала его великим страданием. Страшная болезнь Федора Михайловича в любой день грозила разрушить все наше благополучие. Четыре месяца это, пожалуй, был самый большой промежуток между его припадками. Но бывали они и через неделю. Бывали и такие ужасные полосы, когда на неделе случалось два припадка, бывало даже так,

что через час после одного начинался второй. Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком, какого нарочно никогда не произнести. Очень часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол.

Большей частью катастрофа застигала ночью, но бывало это и днем. Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя. Потом жалко и вопросительно произносил: «Припадок?» – «Да, – отвечаю я, – маленький!». – «Как часто! Кажется, был недавно». – «Нет, уж давно не было», – успокаивала я.

После припадков он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскакивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни, как вы знаете, нельзя. Все, что я могла сделать, это – расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо, синее, искаженное, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается, и ты ничем не можешь ему помочь, – это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему. Дня четыре после каждого приступа он был разбит физически и духовно – в особенности ужасно было его нравственное страдание.

Период жизни со мною был еще сравнительно более здоровым для Федора Михайловича. Раньше припадки были еще чаще. К концу жизни они стали реже. И каждый раз Федору Михайловичу казалось, что он умирает.

Всеволод Сергеевич Соловьев:

По зимам 76–77 и 77–78 годов мы продолжали довольно часто видаться. И хотя мы жили на двух противоположных концах города, Достоевский иногда проводил у меня вечера.

Он приезжал ко мне почти всегда после своих мучительных припадков падучей болезни, так что некоторые наши общие знакомые, узнавая, что у него был припадок, так и говорили, что его нужно искать у меня.

Бедный Федор Михайлович имел достаточно времени привыкнуть к своим припадкам, привыкали к ним и их последствиям и его старые знакомые, которым все это уже не казалось страшным и считалось обыкновенным явлением. Но он бывал иногда совершенно невозможен после припадков; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях.

Придет он, бывало, ко мне, войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его... Все-то у меня ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, – то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно... Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил, – ему подают пиво вместо чая! Налют слабый – это горячая вода!..

Пробуем мы шутить, рассмешить его – еще того хуже: ему кажется, что над ним смеются...

Впрочем, мне почти всегда скоро удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых его тем. Он мало-помалу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить. Через час он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное его состояние.

Долги и доходы

Николай Николаевич Страхов:

Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать к сроку, гнать работу и нередко опаздывать с работою. Причина состояла в том, что он жил одною литературою и до последнего времени, до последних трех или четырех лет, нуждался, поэтому забирал деньги вперед, давал обещания и делал условия, которые потом и приходилось выполнять. Распорядительности и сдержанности в расходах у него не было в той высокой степени, какая требуется при житье литературным трудом, не имеющим ничего определенного, никаких прочных мерок. И вот он всю жизнь ходил, как в тенетах, в своих долгах и обязательствах и всю жизнь писал торопясь и усиливаясь.

Анна Григорьевна Достоевская:

Я хочу объяснить, как именно явились эти столь замучившие нас обоих долги.

Лишь самая малая доля их, тысячи две-три, была сделана лично Федором Михайловичем. Главным же образом то были долги Михаила Михайловича по табачной фабрике и по журналу «Время». После неожиданной смерти Михаила Михайловича (он проболел лишь три дня) семья его, жена и четверо детей, привыкшие к обеспеченной, даже широкой жизни, остались без всяких средств. Федор Михайлович, к тому времени овдовевший и не имевший детей, счел своею обязанностью заплатить долги брата и поддержать его семью. Возможно, что ему и удалось бы исполнить свое благородное намерение, если бы он имел осторожный и практический характер. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя, и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалась его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было не совестно и не лень. При жизни брата Федор Михайлович не входил в денежную часть журнала и не знал, в каком положении дела находятся. Когда же после смерти Михаила Михайловича мужу пришлось взять на себя издание журнала «Эпоха», то пришлось взять на себя и все оставшиеся неуплаченными долги по изданию журнала «Время», по типографии, бумаге, переплетной и проч. Но, кроме известных Федору Михайловичу сотрудников «Времени», к нему стали являться люди, большею частью совершенно ему неизвестные, которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не представлял тому доказательств, да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он (как мне передавали) обыкновенно говорил просителю:

— Сейчас у меня никаких денег нет, но, если хотите, я могу выдать вексель. Прошу вас только скоро с меня не требовать. Уплачу, когда будет можно.

Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. Приведу случай, правдивость которого мне пришлось проследить по документам.

Один малоталантливый писатель Х., помещавший свои произведения во «Времени», явился к Федору Михайловичу с просьбою уплатить ему двести пятьдесят рублей за повесть, помещенную в журнале еще при жизни Михаила Михайловича. По обыкновению, денег у мужа не оказалось, и он предложил вексель. Х. горячо благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через две недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к Х. за объяснением. Тот сму-

тился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он, доведенный до крайности, отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она пождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и т. д. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты этого долга.

Лет через восемь, пересматривая по какому-то случаю бумаги Федора Михайловича, я нашла записную книжку по редакции «Времени». Представьте мое удивление и негодование, когда я нашла в ней расписку писателя Х. в получении от Михаила Михайловича денег за эту же повесть! Я показала расписку мужу и услышала в ответ:

– Вот уж не думал, что Х. способен был меня обмануть! До чего доводит человека крайность!

По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного рода. Их было около двадцати тысяч, а с выросшими процентами, к нашему возвращению из-за границы, оказалось около двадцати пяти. Уплачивать нам пришлось в течение тринадцати лет. Лишь за год до смерти мужа мы, наконец, с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и проч.

Для уплаты этих фиктивных долгов Федору Михайловичу приходилось работать сверх сил и тем не менее отказывать и себе, и всей нашей семье не только в удовольстве, в комфорте, но и в самых насущных наших потребностях. Как счастливее, довольнее и спокойнее могли бы мы прожить эти четырнадцать лет нашей супружеской жизни, если бы над нами не висела всегда забота об уплате долгов...

Эти взятые на себя долги были вредны Федору Михайловичу и в экономическом отношении: в то время когда обеспеченные писатели (Тургенев, Толстой, Гончаров) знали, что их романы будут наперерыв оспариваться журналами, и они получали по пятьсот рублей за печатный лист, необеспеченный Достоевский должен был *сам предлагать* свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше. Так, он получил за романы «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы» по полтора рубля за печатный лист; за роман «Подросток» – по двести пятьдесят рублей и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» – по триста рублей.

Николай Николаевич Страхов:

«Дневник писателя» на 1876 год имел 1982 подписчика, и кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2000–2500 экземплярах. Некоторые номера потребовали 2-го и даже 3-го издания, например январский.

В 1877 году было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже.

Один номер, выпущенный в 1880 году (август) и содержащий в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз. и разошлось без остатка.

«Дневник» на 1881 год печатался в 8000 экземплярах и имел в январе, прежде выхода первого номера, 1074 подписчика. Все 8000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6000 экземплярах и разошлось без остатка...

В 1873 году 24-го января вышли «Бесы» в 3500 экземплярах.

В 1874 году, 24-го января «Идиот» в 2000 экземплярах, а 21-го декабря 1875 года «Записки из Мертвого дома» в 2000 экземплярах.

В 1876 году 18-го декабря «Преступление и наказание» в 2000 экземплярах.

В 1879 году 10-го ноября «Униженные и оскорбленные» в 2400 экземплярах.

В конце 1880 года «Братья Карамазовы» в 4000 экземплярах.

Федор Михайлович необыкновенно радовался поправлению своих денежных дел. Он истинно гордился не только успехом своих сочинений, но и тем, что они дают ему хороший доход, позволили ему расплатиться с долгами и принесли ему достаток. Вспоминая о тех трудах, в которых он прожил свою жизнь, он иногда горько жаловался на свою судьбу и особенно мучился мыслью, что если скоро умрет (а плохое здоровье часто наводило на эти мысли), то оставит семью в бедности. Поэтому всякий успех в денежных делах был ему истинною отрадою, давал ему надежду на лучшую судьбу дорогих ему существ, утешал и оправдывал его в собственных его глазах. В одной из его записных книг сохранился листок, на котором он тщательно подводил итог чистого дохода, выручавшегося со всех его изданий. Во эта записка:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.